Гончаров И. А. **Необыкновенная история**: **(Истинные события)** / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. Н. Ф. Будановой // И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. — М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2000. — С. 184—304. — (Лит. наследство; Т. 102).

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

(Истинные события)

Вступительная статья, подготовка текста и комментарии Н. Ф. *Будановой*

1

Тема “Гончаров и Тургенев” привлекала внимание дореволюционных и современных авторов — П. В. Анненкова, Л. Н. Майкова, Е. А. Ляцкого, Б. М. Энгельгардта, В. А. Недзвецкого, Л. С. Гейро и некоторых других. Важнейшими источниками для изучения этой темы в ее биографическом и историко-литературном аспектах являются наряду с воспоминаниями современников, переписка Гончарова с Тургеневым и “Необыкновенная история”, эта своеобразная авторская исповедь, освещающая историю отношений между писателями за 1840—1870-е годы.

В 1923 г. Б. М. Энгельгардт опубликовал сохранившуюся часть переписки Гончарова и Тургенева и снабдил ее содержательной статьей, в которой были подробно прослежены отношения писателей и дан глубокий анализ объективных и субъективных предпосылок конфликта[1].

“Необыкновенная история” при жизни Гончарова не публиковалась. В 1924 г. она была издана в “Сборнике Российской Публичной библиотеки” с краткими примечаниями Д. И. Абрамовича и в дальнейшем полностью не перепечатывалась[2]. В настоящее время это издание является библиографической редкостью и малодоступно даже специалистам. Публикация полного, научно выверенного текста “Необыкновенной истории” с основными разночтениями и вариантами — насущная задача нашего литературоведения.

Как известно, автор “Необыкновенной истории” апеллировал к суду потомков, которым он в первую очередь и адресовал свою исповедь. В примечании к рукописи Гончаров пишет:

“Завещаю — моим наследникам и вообще всем тем, в чьи руки и в чье распоряжение поступит эта рукопись, заимствовать из нее и огласить что окажется необходимым <...> в таком только случае, если через Тургенева, или через других в печати возникнет и утвердится убеждение (основанное на сходстве моих романов с романами как Тургенева, так и иностранных романистов), что не они у меня, а я заимствовал у них — и вообще, что я шел по чужим следам! В противном случае, то есть если хотя и будут находить сходство, но никакого предосудительного мнения о заимствовании выражать не будут, то эту рукопись прошу предать всю огню или отдать на хранение в Им<ператорскую> Публ<ичную> библиотеку, как материал для будущего историка русской литературы”[*1].

Опасения Гончарова не оправдались. Современники и потомки решительно отвергли идею плагиата как с той, так и с другой стороны. Может возникнуть закономерный вопрос: следует ли в таком случае делать весьма противоречивую по своему характеру исповедь Гончарова достоянием широкой общественности? Не будет ли это “нарушением воли” писателя? Напомним, что в статье “Нарушение воли” Гончаров выразил сожаление, что “писатель по смерти является не в том виде, в каком он хотел явиться в свет, что разные литературные гробокопатели разбирают его по мелочам и нарушают цельность его образа, каким он думал явить себя перед публикой и потомством”[*2].

На это можно возразить следующее. Гончаров предназначал свою рукопись также будущему историку русской литературы, а “Необыкновенная история” является ценным источником историко-литературного характера, помогающим глубже понять биографию и творчество Гончарова, особенно роман “Обрыв”. Несмотря на крайне субъективное и пристрастное, требующее критического подхода освещение Гончаровым своих взаимоотношений с Тургеневым, “Необыкновенная история” является также необходимым научным источником для изучения темы “Гончаров и Тургенев”. Деликатное замалчивание этих трудных отношений привело к боязни всяких сближений и сопоставлений произведений Гончарова и Тургенева, что оказало отрицательное воздействие на сравнительно-историческое изучение творчества двух больших русских романистов, художников глубоко самобытных и в то же время типологически родственных. “Необыкновенная история” дает ценный материал для подобного изучения.

Внешняя история взаимоотношений Гончарова и Тургенева подробно прослежена в литературе, и потому нет необходимости отдельно останавливаться на этом вопросе. Суть конфликта, произошедшего между писателями, состоит в том, что в 1855 г. Гончаров подробно пересказал Тургеневу программу задуманного им еще в 1849 г. “Обрыва” и впоследствии обвинил автора “Дворянского гнезда” и “Накануне” в прямых творческих заимствованиях[3].

Конфликт привел к третейскому суду, состоявшемуся 29 марта 1860 г. на квартире Гончарова при участии П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, С. С. Дудышкина и А. В. Никитенко. Решением суда было признано, что “произведения Тургенева и Гончарова как возникшие на одной и той же русской почве должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны”[4].

После третейского суда общение между писателями прекратилось. В 1864 г. они помирились на похоронах А. В. Дружинина, однако прежние дружеские отношения между ними не возобновились. По мере публикации новых произведений Тургенева в душе Гончарова просыпались прежние опасения, не исчезнувшие, как об этом свидетельствуют “Необыкновенная история” и письма Гончарова, до конца его жизни.

Ученые, обращавшиеся к проблеме “Гончаров и Тургенев”, дали объяснение объективных и субъективных предпосылок “любви — вражды” Гончарова к Тургеневу. Отмечалось, в частности, что “Обыкновенной историей” и “Сном Обломова” Гончаров-романист блестяще начал свою литературную карьеру в качестве прямого преемника Гоголя и не имел себе соперника до конца 1850-х годов на поприще романа (Достоевский был на каторге, Толстой писал повести и рассказы, прославленный автор “Записок охотника” еще тоже не перешел к большой эпической форме).

«Громкий успех “Дворянского гнезда”, вышедшего в свет ранее “Обломова” и на первых порах его затмившего, создал ситуацию, к которой Гончаров психологически не был готов, — справедливо пишет В. Недзвецкий. — Вынашивающий свои многонаселенные эпические картины годами, в особенности долго обдумывающий их архитектонику, писатель вполне искренно не признавал за неожиданным соперником развитой эпической способности. “Если смею выразить Вам взгляд мой на Ваш талант, — замечает он Тургеневу, например, в письме от 28 марта 1859 г., — то скажу, что Вам дан нежный, верный рисунок и звуки, а Вы порываетесь строить огромные здания... и хотите дать драму”. В течение всей последующей жизни Гончаров не изменит своего убеждения в новеллистическом характере тургеневского дарования <...> Слава Тургенева-*романиста* делает его центральной фигурой русской литературы. В глазах Гончарова этот факт выглядит каким-то недоразумением, которое он может объяснить лишь тем, что Тургенев — “миниатюрист” по роду таланта — и в последующих за “Дворянским

гнездом” романах позаимствовал из “Обрыва” “лучшие места, перлы и сыграл на своей лире”. Горечь уязвленного творческого самолюбия усугубляется к тому же неравенством внешних условий, в которых работают Гончаров и его приятель-соперник» (VII, 456).

Обратимся к работам (пока еще малочисленным), посвященным “Необыкновенной истории” и — шире — теме “Гончаров и Тургенев”.

А. И. Батюто один из первых в нашем литературоведении поставил вопрос о возможном воздействии Гончарова на становление Тургенева-романиста [5]. Констатируя близость некоторых сюжетных мотивов и образов в первоначальном плане “Обрыва”, с одной стороны, и “Накануне”, с другой, А. И. Батюто рассматривает эту близость в призме литературной традиции и преемственности. Ученый приходит к выводу об использовании Тургеневым “чужих приемов сюжетостроения и композиции” (в данном случае и гончаровских) при конструировании “сравнительно второстепенных компонентов повествования в своих романах”[6]. По мнению А. И. Батюто, Тургенев — начинающий романист — учился у Гончарова искусству построения сюжета и композиции романа.

О. А. Демиховская в статье “И. А. Гончаров и И. С. Тургенев” [7] справедливо осуждает упрощенный подход к конфликту, к попыткам односторонне объяснить его лишь негативными чертами личности и характера Гончарова (мнительность, болезненное самолюбие и даже зависть к литературным успехам соперника). Однако и О. А. Демиховская не избегла подобного же упрощенного подхода к Тургеневу, напомнив о его ссорах и конфликтах с Л. Н. Толстым и Достоевским.

“Необыкновенной истории” посвящены две содержательные статьи В. А. Недзвецкого [8]. Оригинальность научного метода автора статей состоит прежде всего в том, что он рассматривает конфликт “Гончаров — Тургенев” как историко-литературную проблему.

“Типологическая общность двух художников, творцов русского реалистического романа после Лермонтова и Гоголя и до Л. Толстого и Достоевского — такова, на наш взгляд, объективная предпосылка психологического феномена любви — вражды Гончарова к его более удачливому сопернику”, — пишет В. Недзвецкий в статье, посвященной “Необыкновенной истории” в восьмитомном собрании сочинений Гончарова (VII, 456). Отметив существенное сходство тургеневского и гончаровского романов в сфере конфликта и структуры, эстетического идеала, В. Недзвецкий, в частности, сближает гончаровский и тургеневский романы на следующих основаниях:

1. Центральное место любовной коллизии (испытание любовью и испытание любви).

2. Доминирующее положение высокодуховного и цельного женского персонажа.

3. Проблема любви и долга (Тургенев) и любви-долга (Гончаров) (VII, 456)[9].

Все это справедливо, однако указанные черты не являются специфической особенностью поэтики Гончарова и Тургенева: они присущи, в частности, “Евгению Онегину” Пушкина с его центральным высокоодухотворенным и цельным женским характером. Очевидно, Татьяна Ларина является литературным прообразом во многом внутренне родственных между собою героинь Гончарова и Тургенева, а тип гончаровского и тургеневского романов восходит в целом к “Евгению Онегину”. Не случайно оба писателя считали Пушкина своим учителем.

Однако если в первой статье В. Недзвецкий при объяснении причин конфликта между Гончаровым и Тургеневым учитывает совокупность обстоятельств биографического, психологического, историко-литературного и иного характера, то во второй статье — “Конфликт И. С. Тургенева и И. А. Гончарова как историко-литературная проблема” — ученый несколько отходит от этого плодотворного метода и пытается осмыслить конфликт лишь как сугубо литературную проблему.

По мнению В. Недзвецкого, конфликт между писателями отразил существенные потребности русского литературного процесса XIX в., когда главные задачи реализма практически совпадали с нуждами романа, с поисками его новой структуры, т.к. роман из народной жизни (Д. В. Григорович) и социально-бытовой роман (А. Ф. Писемский) практически уже исчерпали свои возможности. К середине 1850-х годов, когда обозначился конфликт, Гончаров и Тургенев размышляли над характером и структурой современного романа, решали аналогичные задачи (Тургенев — “Два поколения”, “Рудин”; Гончаров — “Обыкновенная история”, замысел “Обрыва”, “Обломов”). Отсюда их постоянный творческий интерес друг к другу. Эти же причины впоследствии обусловили и устойчивую вражду между ними.

Типологическое родство романного мышления писателей, близость идейно-художественных исканий, а также близкое по времени общественное признание неизбежно обрекали писателей на своеобразное литературное соперничество.

В. Недзвецкий полагает, что автор романов “Дворянское гнездо”, “Накануне”, “Отцы и дети” испытал несомненное и для него плодотворное влияние не только “программы” “Обрыва”, но и гончаровских романов в целом, и прежде всего “Обыкновенной истории”. Однако это влияние не вело ни к эпигонству (Тургенев был самобытным и оригинальным писателем), ни к плагиату: сам Гончаров приводит в “Необыкновенной истории” по существу примеры сходства, а не заимствования в строгом смысле слова. Влияние Гончарова, как считает В. Недзвецкий, заключается не в частных реминисценциях, а “имеет структуросозидающий характер”. Гончаров-романист ранее Тургенева (к середине 1850-х годов) решал важную для тургеневско-гончаровского романа проблему: он нашел способы сопряжения бытийного и бытового начал, “механизм романообразования”, заключавшийся, по мнению ученого, в умении пронизать нравоописательные части “поэтическими” элементами и тем самым сцементировать все это эпическое целое. Тургенев учился у Гончарова-романиста художественным приемам романической поэтизации[10].

Не оспоривая того факта, что Тургенев — автор “Записок охотника” и ряда повестей и рассказов 1850-х годов — самостоятельно владел художественными приемами поэтизации, В. А. Недзвецкий полагает, однако, что большая эпическая форма (роман) заставляла решать эти вопросы по-новому.

Ответственный вывод В. А. Недзвецого о “гончаровской школе” Тургенева в области средств романической поэтизации представляется спорным. Глубокая поэтичность, высокий лиризм — неотъемлемые свойства тургеневского дарования, изначально ему присущие. Думается, что писатель прекрасно владел способами реализации этого своего “дара Божьего”.

Вполне научно правомерный вопрос о “гончаровской школе” Тургенева требует, как мы думаем, основательного сравнительного изучения жанровых особенностей и поэтики романов Гончарова и Тургенева, причем романы Тургенева очевидно следует сопоставлять не с планом ненаписанного “Обрыва”, а прежде всего с “Обломовым”. Здесь много, на наш взгляд, точек соприкосновения. Пока еще это задача будущего.

Спорным нам представляется также следующее предположение: если бы Тургенев своевременно признался, что испытал известное гончаровское влияние, то конфликт, омрачавший долгие годы жизнь обоих писателей, возможно, оказался бы исчерпанным. Увы, для подобного вывода, как мы думаем, мало оснований. При сложившейся ситуации и с учетом особенностей личностей и характеров участников конфликта всякое признание Тургеневым влияния на него Гончарова-романиста было бы равноценно признанию в плагиате, как его понимал Гончаров. Напомним, что Тургенев признал отчасти влияние устного плана “Обрыва” на “Дворянское гнездо”, устранив из своего романа некоторые указанные ему Гончаровым

“параллели”. Однако ни личные объяснения с Тургеневым и его частичные уступки, ни “третейский суд” друзей не смогли полностью примирить писателей. Конфликт — и это следует признать со всей откровенностью — полностью был бы исчерпан лишь при одном условии: если бы Тургенев удовлетворился уготованной ему Гончаровым долей художника-”миниатюриста”, автора “Записок охотника”, небольших повестей и рассказов, и отказался бы от большой эпической формы.

Очевидно, что один только историко-литературный подход к конфликту — при всей значительности его результатов — недостаточен. Необходимо принять во внимание совокупность всех объективных и субъективных причин (последние были глубоко раскрыты Б. М. Энгельгардтом). Следует, в частности, учесть личное одиночество Гончарова, его исключительную сосредоточенность на литературном труде [11], а также особенности духовной организации и характера писателя, осложненные тяжелой наследственностью: его крайнюю впечатлительность, душевную ранимость, внутреннюю незащищенность, мнительность, подозрительность. Черты эти приняли с годами крайне болезненный характер (примеч. 91, примеч. 161).

Польский ученый Л. Суханек, опираясь на труды отечественных теоретиков литературы, сделал попытку применить компаративистский метод к изучению “Необыкновенной истории” и “Дворянского гнезда” в статье “И. Тургенев и Гончаров, или О плагиате”! [2]. Так как план “Обрыва” не сохранился, то объектами сравнительного анализа становятся тексты “Обрыва” и “Дворянского гнезда”.

Л. Суханек исходит из того факта, что, приступая к работе над “Дворянским гнездом”, Тургенев был знаком с замыслом гончаровского романа о Райском. Не подлежит также сомнению и тот факт, что оба писателя были прекрасными наблюдателями жизни и могли заметить подобные черты в тогдашней русской действительности. «Мы не в состоянии сказать сегодня, — заключает Л. Суханек, — сознательно ли использовал Тургенев некоторые мотивы, образы, сцены, детали и даже отдельные формулировки, взятые из произведения, планируемого Гончаровым, или же перенес их подсознательно в свой роман. Сам Тургенев никогда не признавался в плагиате, более того, был оскорблен мнением Гончарова. Авторы воспоминаний о Тургеневе также не подтверждают претензий автора “Обрыва”»! [3]. Л. Суханек приходит к выводу о подсознательных реминисценциях у Тургенева.

2

Обратимся к наиболее “больным” и трудным проблемам “Необыкновенной истории”. Были ли у Гончарова какие-либо основания обвинять Тургенева и некоторых западноевропейских писателей в литературных заимствованиях из программы “Обрыва”?

«В “Дворянском гнезде”, — замечает Гончаров в “Необыкновенной истории”, — он (Тургенев. — *Н. Б.*) ближе всех других своих повестей подошел к “Обрыву” <...> Прочие заимствования <...> далеки <...> Это скорее *параллели*» (с. 218—219). Роман “Накануне” Гончаров рассматривает как “продолжение той же темы из “Обрыва”: именно дальнейшая судьба, драма Веры”, как “продолжение темы из Райского” (с. 206, 207). О “Дворянском гнезде” и “Накануне” Гончаров писал Тургеневу как об “одном сюжете”, “разложенном на две повести и приправленном болгаром” (VIII, 261).

Перечислим наиболее существенные из отмеченных Гончаровым сближений (или параллелей) между программой “Обрыва”, с одной стороны, и романами “Дворянское гнездо” и “Накануне”, с другой.

а. Религиозность героини (Вера, Лиза).

б. Изображение семейной драмы (“падение” героини).

в. Сцена (беседа) героини с бабушкой (тетушкой).

г. Образ художника-дилетанта (Райский, Паншин, Шубин).

д. Описание галереи предков Лаврецкого (в программе “Обрыва” была намечена глава о предках Райского — их краткая характеристика дана в “Необыкновенной истории”).

е. Мотив новой молодой жизни на развалинах старой в эпилоге “Дворянского гнезда” (встреча Лаврецкого, приехавшего восемь лет спустя после описанных в романе событий в дом Марьи Дмитриевны и его встреча с молодежью; в программе “Обрыва” намечалась близкая сцена: Райский, вернувшийся из-за границы, “нашел новое поколение и картину счастливой жизни. Дети Марфиньки и проч.” (с. 201).

ж. Близость судеб Веры и Елены из “Накануне” (согласно первоначальному плану “Обрыва” Вера следовала за сосланным в Сибирь по политическим мотивам Волоховым).

Еще до опубликования “Дворянского гнезда”, прослушав его в кругу литературных друзей Тургенева, Гончаров указал ему на близость некоторых образов, идей, сюжетных и психологических ситуаций этого романа с программой “Обрыва”. 27 марта 1860 г. Гончаров писал Тургеневу: “Вы тогда отчасти согласились в сходстве общего плана и отношений некоторых лиц между собой, даже исключили одно место, слишком живо напоминавшее одну сцену, и я удовольствовался”[14]. В письме Гончарова к Тургеневу от 28 марта 1859 г. упоминается о похожем на сцену между Верой и бабушкой, “но довольно слабом месте” романа Тургенева, которым он “так дружески и великодушно” пожертвовал, чтобы избежать сходства (VIII, 263). В черновом автографе “Дворянского гнезда” эта сцена не сохранилась, однако там есть намек на “падение” Лизы во время ее ночного свидания с Лаврецким. Этот намек отсутствует в окончательной редакции романа. Очевидно, Тургенев внес некоторые изменения в черновую рукопись “Дворянского гнезда”. Важно подчеркнуть в данном случае, что аналогии, отмеченные Гончаровым, действительно имели место и отчасти были признаны Тургеневым, объяснившим их своей “невольной впечатлительностью”.

Однако обвинения в прямых заимствованиях, т. е. в плагиате, не имеют никаких оснований, тем более что речь идет не о написанном произведении, а об устной программе. Разумеется, в памяти Тургенева могли запечатлеться отдельные детали этой программы, а увлекательный рассказ Гончарова мог пробудить у писателя желание обратиться к близким образам и ситуациям.

Обращение писателей-современников к близким темам, образам, идеям, творческое использование чужих сюжетных схем или мотивов — дело обычное в литературе. Оно является объектом сравнительно-типологического (или сравнительно-исторического) изучения творчества писателей.

После “Дворянского гнезда” и “Накануне” аналогии с программой “Обрыва” в творчестве Тургенева исчезают. Сопоставления и параллели с последующими произведениями Тургенева, приведенные Гончаровым, малоубедительны и страдают натяжками. Нет смысла подробно доказывать их предвзятый характер. Приведем лишь некоторые примеры.

Так, например, Гончаров усматривает сюжетное сходство между романом “Отцы и дети” и планом “Обрыва” в том, что Аркадий Кирсанов и Базаров, подобно Райскому и Волохову, приезжают в провинцию: что у Тургенева также две героини, отдаленно напоминающие Веру и Марфиньку. Далее Гончаров отмечает, что заглавие и общая идея романа “Дым” восходят также к плану “Обрыва” (в одной из глав законченной редакции романа Райский и Волохов беседуют о миражности русской общественной жизни). Однако мотив призрачности, миражности не только русской общественной, но и человеческой жизни вообще, очень стар. Достаточно вспомнить Библию (книгу Екклесиаста). Еще менее убедительно предположение Гончарова, будто повесть Тургенева “Вешние воды” представляет собой переработку первой части “Обыкновенной

истории”: в обоих случаях изображается молодое чувство, только в одном случае “вешними слезами” обливается юноша, в другом девушка; в обоих произведениях изображена сцена верховой езды, обе героини чистят ягоды и т. д. Малоубедительно и сопоставление рассказа Тургенева “Несчастная” с эпизодическим персонажем “Обрыва” — возлюбленной Райского Наташей. В данном случае женские характеры скорее контрастны, и трудно усмотреть сходство между кроткой, робкой героиней Гончарова и гордой, страстной, энергичной Сусанной Тургенева.

Как известно, мнительность Гончарова с годами возрастала; не только в творчестве Тургенева, но также и в ряде произведений западноевропейских писателей (“Госпожа Бовари” и “Воспитание чувств” Г. Флобера, “Дача на Рейне” Б. Ауэрбаха и некот. др.) Гончаров начал усматривать сложное преломление идей, образов и сюжетных мотивов “Обрыва”, сообщенных, как он предполагал, европейским писателям Тургеневым. Отзывы критиков, сближавших персонажей русских и европейских романов, усугубили это подозрение. Так, например, А. С. Суворин в статье “Французское общество в новом романе Густава Флобера” писал, что главный герой романа “Воспитание чувств” Фредерик Моро близок по своему характеру так называемым “людям 40-х годов” в России: “Он напоминает хорошо знакомого нашим читателям Райского с тем различием, что Флобер отнесся еще объективнее к своему герою, чем наш почтенный романист”[15]. Разумеется, в данном случае речь идет не о плагиате и прямых заимствованиях, а о типологическом родстве образов Фредерика и Райского. Известная типологическая близость существует также между образами Леонтия Козлова и его жены Уленьки, с одной стороны, и Шарлем и Эммой Бовари, с другой. Во всяком случае отмеченные Гончаровым художественные параллели между “Обрывом” и произведениями западноевропейских литератур нуждаются в серьезном и вдумчивом сравнительно-историческом изучении.

Нет необходимости доказывать всю несостоятельность предположений Гончарова будто Тургенев “перетаскал все” из “Обрыва” в западную литературу, пожертвовав интересами русской.

Заслуживает специального внимания затронутый Гончаровым в “Необыкновенной истории” вопрос о негативной якобы роли Тургенева в деле распространения на Западе русской культуры. Утверждение Гончарова в данном случае вступает в прямое противоречие с реальными фактами. Тургенев, напротив, был активнейшим пропагандистом русской литературы на Западе и постоянно знакомил европейского читателя с ее крупнейшими представителями. Так, например, Тургенев лично перевел на французский язык некоторые произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя. По его рекомендации и при его личном содействии во Франции были переведены произведения Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, А. Ф. Писемского, Н. С. Лескова, М. Е. Салтыкова-Щедрина и других русских писателей. “У нас есть все основания говорить о Тургеневе, как о проповеднике русской культуры за рубежом, — пишет М. П. Алексеев. — Формы этой популяризаторской и пропагандистской деятельности его были весьма разнообразны: его художественное творчество, целиком принятое западными читателями, служило показателем той зрелости и мастерства, которых достигла русская художественная литература: его романы и повести в отраженном свете впервые представили западным читателям многих русских поэтов; Тургенев не только сам трудился над переводами произведений русской литературы, но и создал целую школу переводческого искусства во Франции и, частично, в Англии; наконец, высокий авторитет Тургенева на Западе сделал бесспорными многие из его оценок произведений русских писателей. Мы не хотели бы, однако, сказать, что распространение русской литературы на Западе есть дело одного Тургенева. Тем не менее несомненно, что он содействовал этому распространению в сильнейшей степени, и его

роль должна быть учтена в общей истории этого процесса”[16].

Не соответствует истине и предположение Гончарова, что Тургенев якобы препятствовал росту популярности Л. Н. Толстого на Западе. Тургенев чрезвычайно высоко ценил творчество Толстого, “великого писателя земли русской”, и много сделал для пропаганды его произведений на Западе в 1870-е — начале 1880-х годов. Известно, что Тургенев мечтал сам перевести на французский язык повесть “Казаки” и “Войну и мир”.

В предисловии к французскому переводу повести “Два гусара” (1875) Тургенев дал общую характеристику творчества Толстого, назвав его “одним из самых замечательных писателей русской литературной школы, той школы, которая исходит из Пушкина и Гоголя”. По мнению Тургенева, автор “Войны и мира” “решительно занимает первое место в расположении публики” и принадлежит к великому реалистическому потоку...” [17]. В письме к редактору влиятельной французской газеты “Le XIX-e Siècle” Э. Абу от 8/20 января 1880 г. Тургенев откликнулся на выпущенный издательством Ашетта во Франции в 1879 г. роман “Война и мир” (пер. И. Паскевич). “Лев Толстой, — пишет Тургенев, — самый популярный из современных русских писателей”, а “Война и мир”, смело можно сказать, — одна из самых замечательных книг нашего времени <...> это великое произведение великого писателя — и это подлинная Россия”[18].

В предисловии к очерку А. Бадена “Un roman du comte Tolstoi (“Роман графа Толстого”. — *Н. Б.*)” (1881) Тургенев назвал Толстого “великим русским писателем”, автором “национального эпического романа” “Война и мир”. Талант Толстого охарактеризован здесь как “могучий и самобытный”[19].

По справедливому заключению М. П. Алексеева, “Тургенев не только “ввел” Толстого во французскую литературу, но и в значительной степени обеспечил в ней неуклонный рост его популярности. Медленное завоевание привело, в конце концов, к блестящей победе. Это произошло уже после смерти Тургенева. Быть может, он даже еще не предвидел всех результатов этой победы и ее всемирно-исторического значения”[20].

3

Дальнейшее сравнительно-типологическое сопоставление творчества Гончарова и Тургенева представляется нам наиболее плодотворным путем не только для понимания произошедшего между ними конфликта, но и для изучения вопроса о возможном творческом воздействии художников друг на друга.

Гончаров рассматривал свои романы (особенно последние два — “Обломов” и “Обрыв”) как единое целое: они охватывают продолжительный период русской общественной жизни — с 1840-х по 1870-е годы. По словам писателя, его романы связаны между собою “одною последовательною идеею — перехода от одной эпохи русской жизни <...> к другой (VIII, 107), причем объектом наблюдения Гончарова, как и Тургенева, являлись в основном представители русского “культурного слоя”. По характеру изображенной в “Обломове” и “Обрыве” русской общественной жизни Гончаров определил первый как “Сон”, а второй как “Пробуждение” (VIII, 111).

Близкие задачи ставил перед собой и Тургенев, также смотревший на свои романы как на некое единство. Они охватывают тот же период русской общественной жизни, что и романы Гончарова. В “Предисловии к романам” (1880) Тургенев писал, что в течение 1850—1870-х годов он стремился добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в типы “самый образ и давление времени”, а также “ту быстро изменявшуюся физиономию русских людей культурного слоя”, который преимущественно был предметом его наблюдений[21].

Представляется несомненной типологическая близость центральных женских и мужских

образов в творчестве обоих писателей. Мы имеем в виду прежде всего:

1. Тип русской женщины, духовно и нравственно возвышавшейся над своей средой.
2. Тип “лишнего человека”.
3. Тип нигилиста.
4. Тип деятеля.

Выскажем некоторые общие соображения по поводу системы основных образов Гончарова и Тургенева.

Суждения Гончарова-критика как бы служат подтверждением мысли о типологическом родстве героинь Гончарова и Тургенева и их кровной связи с двумя центральными женскими характерами “Евгения Онегина” Пушкина — Татьяной и Ольгой.

В статье “Лучше поздно, чем никогда” (1879) Гончаров пишет, что Пушкин гениально угадал и художественно воплотил в “Евгении Онегине” два контрастных женских типа: “Характер положительный — пушкинская *Ольга* и идеальный — его *Татьяна*. Один — безусловное, пассивное выражение эпохи, тип, отливающийся, как воск, в готовую, господствующую форму. Другой — с инстинктами самознания, самобытности, самодеятельности. Оттого первый ясен, открыт, понятен сразу (*Ольга* в “Онегине”, *Варвара* в “Грозе”). Другой, напротив, своеобразен, ищет сам своего выражения и формы и оттого кажется капризным, таинственным, малоуловимым” (VIII, 112).

К этим двум типам восходят Марфинька и Вера, а также (особенно к Татьяне) многие героини Тургенева.

Чрезвычайно интересны суждения Гончарова об эволюции типа русской женщины из культурной среды и сравнительные характеристики созданных им русских женских характеров периода 1840-х — 1860-х годов.

Судьбу Наденьки (“Обыкновенная история”) Гончаров сопоставляет с судьбой Татьяны, которая, подавленная грубой и жалкой средой, потянулась к Онегину, но, не найдя в нем ответа на свое чувство, покорилась своей участи и вышла замуж за генерала.

В Наденьке уже проснулась потребность распоряжаться самостоятельно своей судьбой, протестовать против слепой покорности авторитету матери. Однако ее “эмансипация” на этом и кончилась, она “*в действие своего сознания не обратила*, остановилась *в неведении*”, так как жила в эпоху “неведения”, когда Онегин и подобные ему герои “только тосковали в бездействии, не имея определенных целей и дела, а Татьяны не ведали” (VIII, с. 110).

Ольга в “Обломове”, по словам Гончарова, “есть превращенная Наденька следующей эпохи”. “От неведения Наденьки — естественный переход к *сознательному* замужеству Ольги со Штольцем, представителем труда, знания, энергии, словом, силы” (VIII, с. 113).

Вера уже живет в эпоху русской общественной жизни, охарактеризованную Гончаровым как “Пробуждение”. Вера пошла еще дальше Ольги. Она “не хотела жить слепо, по указке старших”, “сама знала, что отжило в старой, и давно тосковала, искала свежей, осмысленной жизни, хотела сознательно найти и принять новую *правду* <...> В новом друге Вера думала найти опору, свет, правду, потому что почуяла в нем какую-то силу, смелость, огонь — и нашла ложь” (VIII, с. 131).

Героиню “Накануне” Елену Тургенев относит к “новому типу” русских женшин, подчеркивает присущее ей “еще смутное, хотя и сильное стремление к свободе” и отсутствие в России героя, которому она могла бы “предаться” (XII, 306).

Гончаров и Тургенев, опираясь на художественный опыт творца Татьяны Лариной, в 1850—1860-е годы создают галерею образов “новых” (в серьезном, положительном значении этого слова), передовых русских женщин.

Неудовлетворение окружающей средой, смутное стремление к свободе, тоска по

осмысленной, деятельной жизни характерна для гончаровских и тургеневских героинь, ожидающих своих избранников, которые должны указать им путь к правде и свету. Любовный конфликт, как уже говорилось, занимает центральное место в романах Гончарова и Тургенева. Героини предельно требовательны к своим избранникам, человеческая и общественная прочность которых проверяется любовью. Характерно отношение гончаровских и тургеневских героинь к проблеме выбора. Они всегда предпочитают слабому, нерешительному, общественно пассивному герою (“лишнему человеку”) героя сильного, активного, деятельного. Ольга, разочаровавшись в Обломове, которого она не смогла пробудить к новой, деятельной жизни, сознательно выбирает энергичного Штольца. Вера, ошибочно принимавшая Марка Волохова за представителя “новой правды” и “нового дела”, в дальнейшем, пережив глубокую личную драму, должна, по замыслу писателя, также сознательно пойти за честным “работником” Тушиным, этим “бессознательным новым человеком”, предпочтя его Райскому, потому что талантливый Райский — тот же Обломов, “то есть прямой, ближайший его сын, герой эпохи Пробуждения” (VIII, 117).

Тургеневская Елена отвергает любящих ее Берсенева и Шубина, этих симпатичных, но типично “лишних людей” и выбирает героя силы и дела — Инсарова, который “с своею землею связан”. Марианна, утратившая веру в нерешительного Нежданова, разочаровавшегося в их общем “деле”, сознательно соединяется с честным тружеником — просветителем Соломиным, напоминающим отчасти Тушина. Избранник тургеневской героини — это, как известно, и избранник России, необходимый стране деятель, способный повести ее по пути прогресса. Нечто близкое наблюдается и у Гончарова, который, осудив русскую “обломовщину”, связывал с художественно неудавшимися ему (как, впрочем, и Тургеневу) героями “дела” и деятельности (Штольц, Тушин) надежды на общественное пробуждение и обновление России.

Своеобразный “любовный треугольник”: сильная духом героиня — слабый герой (“лишний человек”) — подлинный герой (“деятель”) характерен для романов и Гончарова, и Тургенева.

Очевидно, оба писателя во многом были близки в своих представлениях о русском общественном прогрессе и его действенных силах.

В 1850-е годы Гончаров и Тургенев, осудив “лишнего человека” за его рефлексию, безволие и неспособность к делу, не смогли найти деятельного героя среди русских. Гончаров противопоставляет Обломову немца Штольца, Тургенев Берсеневу и Шубину болгарина Инсарова. В 1860—1870-е годы Гончаров и Тургенев связывают надежды на общественное пробуждение и возрождение России со скромными тружениками — просветителями на родной ниве — Тушиными и Соломиными, которых относят к подлинно “новым людям”.

Оба романиста несомненно ощущали близость своих творческих исканий и целей. Тургенев признался в письме к Гончарову от 14/26 марта 1864 г., что он стоит к нему “очень близко” — “в силу общего прошедшего, однородности стремлений и многих других причин”[22].

Вопрос о возможном творческом воздействии Тургенева на Гончарова (также научно вполне правомерный) вообще не ставился в силу причин деликатного характера (конфликт, между ними возникший). Представляется, однако, что творческое общение двух больших художников во многом было взаимно плодотворным: переписка Гончарова с Тургеневым и “Необыкновенная история” подтверждают это. Гончаров высоко ценил в Тургеневе образованного и тонкого критика, наделенного безупречным художественным вкусом. Вспомним, что Тургенев оказался глубоким истолкователем и ценителем “Обломова”. Автор “Необыкновенной истории” вспоминает проникновенный отзыв Тургенева о романе: «И Тургенев однажды заметил мне кратко: “Пока останется хоть один русский, — до тех пор будут помнить Обломова”. В другой раз, когда я читал ему последние, уже написанные в Петербурге главы, он быстро встал (в одном месте чтения) с дивана и ушел к себе в спальню. “Вот я уж

старый воробей, а вы тронули меня до слез”, — сказал он, утирая глаза» (с. 202). Интереснейшая деталь: Тургенев подсказал автору “Обломова” слова “голубая ночь”, когда Гончаров читал ему сцену объяснения Штольца с Ольгой в Швейцарии. «Тургенев был тронут ее “сном наяву” и ее мысленным монологом: “Я — его невеста!” и т. д., — вспоминает Гончаров. — Тургенев нашел, что у меня вставлено было несколько лишних подробностей, тогда как ей (выразился он) *снится какая-то голубая ночь*... “Это очень хорошее выражение “голубая ночь”, — сказал я. — Могу я употребить его — вы позволяете?” — “Конечно”, — с усмешкой отвечал он» (с. 225).

Гончаров признал приоритет Тургенева-писателя в открытии нигилизма, а также отметил историческую и художественную достоверность образа Базарова. Автор “необыкновенной истории” сохранил для потомков (пусть в отрывках) некоторые письма к нему Тургенева.

Представляют научный интерес и некоторые приведенные в “Необыкновенной истории” сведения о связях Тургенева с западноевропейскими писателями, не привлекавшие еще специального внимания тургеневедов. Так, в частности, Гончаров говорит о малоизвестном у нас романе Ж. Санд “Франсия” (“Francia”, 1872), в котором упоминается “Рудин” (с. 241). Приведем в заключение в переводе на русский язык это любопытное суждение Ж. Санд:

«Иван Тургенев, хорошо знающий Францию, мастерски воссоздал тип русского интеллигентного человека, который не может найти места в России, так как у него натура француза. Перечитайте последние страницы восхитительного романа Тургенева “Дмитрий Рудин”»[23].

Автограф “Необыкновенной истории” хранится в *РНБ* (ф. 209, № 5). Он представляет собой тетрадь из 53 пронумерованных автором листов со множеством поправок, вычерков и вставок (между строк и на полях), нередко с трудом поддающихся прочтению; некоторые места настолько тщательно зачеркнуты, что восстановить их не представляется возможным. Другими словами, перед нами черновой автограф, не подвергавшийся окончательной авторской обработке.

По своему содержанию эта рукопись состоит из двух частей, написанных в разное время:

1. «Необыкновенная история» (Истинные события)» (л. 1—50)[*3]. В конце (л. 50) — авторская дата: “Декабрь 1875 и январь 1876 года”; перед датой — “Примечание”, содержащее завещательное распоряжение Гончарова по поводу дальнейшей судьбы рукописи. Такое же распоряжение, в краткой форме повторяющее смысл “Примечания” и со ссылкой на него, предваряет рукопись (л. 1, запись на полях).

2. Рукопись без названия (л. 51—53), с авторской датой в начале: “Июль 1878” (л. 51). Это непосредственное продолжение “Необыкновенной истории”, написанное через два с половиной года после ее завершения: “Я запечатал было все предыдущие 50 листов, думая остановиться там, где кончил, — начинает его Гончаров. — Но в течение этих двух с половиной лет случилось многое, относящееся к этому делу, и я, если начал, должен продолжать” (л. 51).

Обе части хранятся в конверте со следами сургучной печати и с надписью Гончарова: “Вверяю заключающиеся в сем пакете простые, лично до меня касающиеся бумаги, Софье Александровне Никитенко для распоряжения с ее стороны таким образом, как я ее просил. Иван Гончаров. 19 мая 1883 года.”

Два автографа, связанные с “Необыкновенной историей”, хранятся в Архиве Российской Академии наук (б. Архив АН СССР) — ф. 726 (И. М. Гревс), оп. 1, ед. хр. 276, л. 5—8, 9—10.

1. Рукопись без названия с авторской датой в начале: “Август 1878” (там же на полях — надпись Гончарова, подтверждающая завещательное распоряжение, высказанное им в 1876 г. в “Примечании”)[*4]. Это своего рода объяснительная записка к “Необыкновенной истории”. Квалифицировать ее подобным образом позволяет содержание “записки”, а также ее

заключительные слова: “Вот эта самая правда и описана в *прилагаемой мною* рукописи” (курсив наш. — *Н. Б.*). Судя по дате, “записка” возникла вслед за описанной выше 2-й частью рукописи *РНБ*.

2. Набросок без заглавия с авторской датой в начале: “Июнь 1879”. По содержанию тесно связан с “продолжением” (хотя написан через год) и является прямым к нему дополнением[*5].

В 1883 г. Гончаров передал конверт с рукописью “Необыкновенной истории” С. А. Никитенко, которая затем передала его в распоряжение А. Ф. Кони [24]. Дальнейшая судьба рукописи на протяжении почти двух десятилетий не прослеживается. Только в 1920 г. ее передал в Российскую публичную библиотеку (ныне *РНБ*) некий Александр Иванович Старицкий (личность его, несмотря на все попытки исследователей, установить не удалось[25]).

Что касается <Записки> и <Дополнения>, то их содержание и даты позволяют предположить, что они в свое время находились в одном конверте с основным текстом “Необыкновенной истории”. Каким образом они оказались в архиве известного историка И. М. Гревса, поступившем в Архив АН СССР в 1942 г., неизвестно.

Рукопись, хранящаяся в *РНБ*, была опубликована в 1924 г.: Сборник Российской публичной библиотеки. Пг., 1924. — Т. II Материалы и исследования. Вып. 1. (публ. Д. И. Абрамовича), — с рядом неточностей и пропусков. Обширные выдержки из нее перепечатаны в *Собр. соч. 1977—1980*. — Т. VII.

<Записка> и <Дополнение>, хранящиеся в Архиве РАН, опубликованы (с рядом неточностей): *Новые материалы. 1976* (публ. О. А. Демиховской)[*6].

В настоящем издании “Необыкновенная история” печатается по автографам, причем все ныне известные ее тексты, описанные выше, впервые воссоединены и расположены в хронологической последовательности их возникновения:

1. Необыкновенная история (Истинные события). Декабрь 1875 и январь 1876 года.
2. <Продолжение “Необыкновенной истории”>. Июль 1878.
3. <Записка к “Необыкновенной истории”>. Август 1878.
4. <Дополнение к “Необыкновенной истории”>. Июнь 1879.

В публикации учтены все имеющие смысловое значение варианты текста (от обширных кусков до отдельных слов); все эти варианты приводятся под строкой. Мелкая правка, смыслового значения не имеющая, не учтена. Пунктуация автора сохраняется.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: И. А. Гончаров и И. С. Тургенев. По неизданным материалам Пушкинского Дома. С предисл. и прим. Б. М. Энгельгардта. Пб., 1923.

[2] Выдержки из “Необыкновенной истории” напечатаны в *Собр. соч. 1978—1980*. Т. VII.

[3] В 1887 г., уже после смерти Тургенева Гончаров сделал следующую запись к рукописи “Обрыва”: “Рукопись представляет материал для романа, который при напечатании в 1869 году в журнале “Вестник Европы” — назвал “Обрывом”. Прежде я называл его просто “Художник Райский” и рассказывал содержание всем и каждому из приятелей литераторов, еще в пятидесятых годах, всего более Тургеневу, которому в 1855 году, в скором времени по возвращении моем из кругосветного путешествия, подробно пересказывал в несколько приемов все подробности, передавал сцены, характеры, так как он более всех сочувствовал, по своей впечатлительности и чуткой восприимчивости в искусстве, моему труду, предсказывая ему успех” (*Гончаров и Тургенев*. С. 33).

[4] *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1960. С. 441—442. Ср. *Никитенко*. Т. 2. С. 115—116.

[5] *Батюто А. И.* Тургенев и Гончаров // Батюто А. И. Тургенев-романист. Л., 1972. С. 326—

349.

[6] Там же. С. 347.

[7] *Новые материалы. 1976*. С. 85—94.

[8] *Недзвецкий В. А.*: 1) “Необыкновенная история” (VII, 449—458); 2) Конфликт И. С. Тургенева и И. А. Гончарова как историко-литературная проблема // Slavica. Debrecen. 1986. Т. XXIII. С. 315—332.

[9] Ср.: Развитие реализма в русской литературе. М., 1973. Т. II. Кн. 1. 73—77, 80, 83.

[10] Slavica. Т. XXIII. С. 323—326.

[11] Тургенев, несомненно, понимал и учитывал этот момент. “Странности Гончарова, — писал он Я. П. Полонскому 16 декабря 1868 г., — объясняются нездоровой и слишком исключительно литературной жизнью. Когда люди на земле воображали, что наш шарик — центр вселенной, то они придавали всему земному преувеличенное значение” (*Тургенев. Письма*. Т. VII. С. 260.

[12] Slavica. Т. XXIII. С. 305—313.

[13] Там же. С. 311.

[14] *Гончаров и Тургенев*. С. 38.

[15] *ВЕ*. 1870, № 2. С. 822.

[16] *Алексеев М. П.* И. С. Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе // Труды Отдела новой русской литературы. М.; Л., 1948. С. 80.

[17] *Тургенев. Соч*. Т. XV. С. 107—108.

[18] Там же. С. 187—188.

[19] Там же. С. 121.

[20] *Алексеев М. П.* Указ. соч. С. 80.

[21] *Тургенев. Соч*. Т. XII. С. 303.

[22] *Тургенев*. Письма. Т. V. С. 239.

[23] *Sand G.* Francia. 3-me ed. Paris. P. 24.

[24] *Кони А. Ф.* Письмо к Э. Л. Радлову от 1 августа 1920 г. (см. наст. том, с. 306).

[25] Там же. С. 306.

NB. Из этой рукописи, [через <25 лет>] после моей смерти, может быть извлечено, что окажется необходимым, для оглашения, только *в том крайнем случае*, который указан в *Примечании* (помещенном в конце рукописи, на 50-м листе), т. е. если бы в печати возникло то мнение, те слухи и та ложь, которые я здесь опровергаю! В противном случае — прошу эти листы, по воле умирающего, предать огню, [январь 1876 года. И. *Гончаров*] или же хранить в Имп<ераторской> Пуб<личной> Библиотеке, как материал для будущего историка Русской литературы, июль 1878 года. И. *Гончаров*[*7].

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

(Истинные события[*8])
Декабрь 1875 и январь 1876 года

В 1846-м году, когда я познакомился с Белинским и с группой окружавших его литераторов и приятелей, между ними не было налицо троих: И. С. Тургенева, В. П. Боткина и П. В. Анненкова. Последние двое были за границей, а Тургенев, кажется, в деревне.

О них часто говорилось в кругу Белинского, в котором толпились: И. И. Панаев, Д. В. Григорович, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский (появившийся с повестью “Бедные люди”), позже явился А. В. Дружинин с романом “Полинька Сакс”. Кроме того, было тут несколько приятелей нелитераторов: Н. Н. Тютчев, И. И. Маслов, М. А. Языков и некоторые другие.

С Панаевым и Языковым я познакомился прежде у Н. А. Майкова (отца поэта). Через последнего, то есть через Языкова, я и передал Белинскому свой роман “Обыкновенная история”, для прочтения и решения, годится ли он и продолжать ли мне вторую часть [1]? Роман задуман был в 1844 году, писался в 1845 и в 1846 мне оставалось дописать несколько глав. Белинский месяца три по прочтении, при всяком свидании осыпал меня горячими похвалами, пророчил мне много хорошего в будущем, говорил всем о нем, так что задолго до печати о романе знали все — не только в литературных петербургских и московских кружках, но и в публике.

Собирались мы чаще всего у И. И. Панаева и у Языкова, у <Н. Н.> Тютчева — иногда все, гурьбой, что позволяли их просторные квартиры. Белинского посещали почти каждый день, но не собирались толпой, вдруг. У него было тесно.

Летом в 1846 году все разъехались — Белинский уехал, кажется, в Крым, Панаев с Некрасовым в Казань, а к осени собрались все в Петербурге. Тогда этот кружок оставил Краевского и “Отечественные записки” и целиком перешел в “Современник” (с Белинским во главе), предпринятый Панаевым и Некрасовым, которые и поселились в одном доме.

Однажды, кажется уже в 1847 году, сказали, что приехал Тургенев[2]. Я пришел как-то вечером к Белинскому и застал у него Тургенева. Он уже тогда, помнится, писал что-то в “Отеч<ественных> записках”[3]. О нем говорили в кружке как о даровитом, подающем большие надежды литераторе. Он стоял спиной к двери, в которую я вошел, и рассматривал в лорнет гравюры или портреты на стене. Белинский назвал нас друг другу, Тургенев обернулся, подал мне руку, и опять начал внимательно рассматривать картинки. Потом опять обернулся, сказал мне несколько одобрительных слов о моем романе и опять — к картинкам. Я видел, что он позирует, небрежничает, рисуется, представляет франта, в роде Онегиных, Печориных и т. д., копируя их стать и обычай.

Он сам, в откровенные минуты, признавался потом, что он с жадностью и завистью смотрел на тогдашних львов большого света, Столыпина (прозванного “Монго”) и поэта Лермонтова, когда ему случалось их встречать. Пока я рассматривал его, он продолжал свой маневр рассматриванья картинок, которые, конечно, давно знал все, будучи близко знаком с Белинским и его квартирой. Вглядываясь в черты его лица, я нашел их некрасивыми, и именно аляповатый нос, большой рот, с несколько расплывшимися губами, и особенно подбородок придавал ему какое-то довольно скаредное выражение. Меня более всего поразил его[*9]неровный, иногда пискливый, раздражительно-женский, иногда старческий больной голос, с шепелявым выговором. Зато глаза были очень выразительны, голова большая, но красивая, пропорциональная корпусу, и вообще все вместе представляло крупную, рослую и эффектную фигуру. Волосы до плеч. После, поседевши весь, он стал носить бороду, которая и скрыла его некрасивый рот и подбородок[*10].

Не помню, как прошли 1846 и 1847-й годы: тогда ли или уже в 1848 году приехали Боткин и Анненков, был ли тут Тургенев или уезжал?[4] Помню только, что в 1848 году умер Белинский — и весь кружок, кроме этой потери, испытывал еще усиленную строгость цензуры, по случаю

революции и перемены правительства во Франции.

В это время побывали в Петербурге московские литераторы Грановский, Кавелин, кажется, А. Д. Галахов. Тогда же мелькнул через Петербург Герцен, с которым я на минуту столкнулся в кондитерской Вольфа, где нас познакомил бывший с ним Панаев — и мы едва успели сказать друг другу несколько слов. Он уехал за границу, и я более его никогда не видал.

Оставляю все это в стороне. Я набросал обстановку этих обстоятельств и лиц настолько, насколько мне это было нужно для цели этой памятной записки. Героем ее будет одна личность — Тургенева, в сношениях со мной, и последствия этих сношений. Из этого, может быть, беспорядочного, но правдивого описания ясна будет и цель, которая заставила меня, почти против моей воли, писать эти страницы. Тургенев то приезжал в Петербург, то уезжал оттуда, иногда живал по целым зимам. При жизни матери, которая, как он говорил, ограничивала его средства, он жил довольно тесно, но когда она умерла, стал жить шире, завел повара, любил звать к себе обедать и вообще быть центром, как хлебосол и как литератор-талант. Все продолжали сходиться у него, у Дружинина, у <Н. Н.>Тютчева, у Языкова. Приехали и Анненков с Боткиным.

Тургенев был общим любимцем не за один только свой ум, талант и образованность, а за ласковое и со всеми одинаково не то что добродушное, какое-то ласкающее, заискивающее обхождение. На всякого встречного, в минуту встречи, он смотрел как на самого лучшего своего друга: положит ему руки на плечи, называет не иначе как “душа моя”, смотрит так тепло в глаза и говорит еще теплее, обещает все, что тот потребует: и прийти туда-то, и к себе позовет и т. д. А только отойдет, тут же и забудет, и точно так же поступит с следующим. Прийти — не придет, куда обещал, а иногда, назначивши видеться у себя, уйдет куда-нибудь. Это он делал по причине своего равнодушного и покойного характера, а иногда и рисовался небрежностью, рассеянностью. “Позвал обедать, а сам ушел! Художник, талант!” — со смехом скажут — и простят! Какие изумленные глаза сделает он потом, как будто забыл, [*11] говорил ли, обещал ли? Обещания прийти куда-нибудь не часто сдерживал: обещает, а если куда позовут после и куда больше хочется, туда и пойдет! А потом — схватит себя за голову: и как искренно и стыдливо смотрит на того, перед кем провинился! Но куда *нужно* ему самому идти — он никогда не забывал!

В 1848 году и даже раньше, с 1847-го года, у меня родился план “Обломова”. Я свои планы набрасывал беспорядочно на бумаге, отмечая одним словом целую фразу, или накидывая легкий очерк сцены, записывал какое-нибудь удачное сравнение, иногда на полустранице тянулся сжатый очерк события, намек на характер и т. п. У меня накоплялась куча таких листков и клочков, а роман писался в голове. Изредка я присаживался и писал, в неделю, в две — две-три главы, потом опять оставлял и написал в 1850 году первую часть. Но в 1848 году, в “Иллюстрированном альманахе” при “Современнике”, я уже поместил отрывок “Сон Обломова”[5] и тогда же, по дурному своему обыкновению, всякому встречному и поперечному рассказывал, что замышляю, что пишу, и читал сплошь и рядом, кто ко мне придет, то, что уже написано, дополняя тем, что следует далее.

Это делалось оттого, что просто не вмещалось во мне, не удерживалось богатство содержания, а еще более оттого, что я был крайне недоверчив к себе. “Не вздор ли я пишу? годится ли это? не дичь ли?” — беспрестанно я мучил себя вопросами. Я с ужасным волнением передал и Белинскому на суд “Обыкновенную историю”, не зная сам, что о ней думать!

И до сей минуты я таков. Садясь за перо, я уже начинал терзаться сомнениями. Даже напечатанное я не дозволял, когда ко мне обращались, переводить на иностранные языки: “Нехорошо, слабо, — думалось мне, — зачем соваться туда?” Поэтому я спрашивал мнения того, другого, зорко наблюдал, какое производит мой рассказ или чтение впечатление на того

или другого — и этим часто надоедал не только другим, но и самому себе. Мне становился противен мучительный процесс медленного труда создания плана, обдумыва-нье всех отношений между лицами, развитие действия. Я писал медленно, потому что у меня никогда не являлось в фантазии одно лицо, одно действие, а вдруг открывался перед глазами, точно с горы, целый край, с городами, селами, лесами и с толпой лиц, словом, большая область какой-то полной, цельной жизни[*12]. Тяжело и медленно было спускаться с этой горы, входить в частности, смотреть отдельно все явления и связывать их между собой!

Романы мои (как я объяснял в другой моей рукописи “Моим критикам”[6]) захватывают большие периоды русской жизни, например “Обломов” и “Обрыв”, лет 30 уложилось в них, — и вот между прочим, кроме недосуга, служебных занятий, а также и ленивой, рассеянной жизни, причина, почему я писал их долго.

Все, что я сейчас сказал, идет к делу, то есть нужно для цели моей записки.

Тургеневу, конечно, я чаще и подробнее излагал и общий план и частности [*13] “Обломова”, как очень тонкому критику, *охотнее всех* прислушивавшемуся к моим рассказам. Сам он писал тогда свои знаменитые “Записки охотника”, одну “Записку” за другой, наполняя ими “Современник”, так что еще Белинский уже поговаривал: “Довольно бы: что-нибудь другое!” — не ему лично, но другим, в том числе и мне[7]. Но эти “Записки” читались с увлечением и справедливо приобрели автору громкое имя! Ни у кого так художественно-мягко не изображалось крепостное право и его уродливости — и почти нигде русская деревенская жизнь и русская сельская природа не рисовались такою нежною, бархатною кистью! Тургенев навсегда останется в литературе как необычайный миниатюрист-художник! “Бежин луг”, “Певцы”, “Хорь и Калиныч”, “Касьян” и много, много других миниатюр как будто не нарисованы, а изваяны в неподражаемых, тонких барельефах![8] «Как миниатюрист! — скажут на это. — А его большие вещи, например, “Дворянское гнездо”, “Отцы и дети”, “Накануне”, “Дым”? Разве это миниатюры? Не они ли дополнили и упрочили его высокое место в литературе? Это полные, большие и притом осмысленные картины русской жизни?!» В ответ на это я глубоко вздохну и буду продолжать свой рассказ.

В 1849 году я уехал на Волгу, в Симбирск, на родину — и там, в течение четырех летних месяцев, у меня родился и развился в обширную программу план нового романа, именно “Обрыв”. Он долго известен был в кругу нашем под именем “Художника”, то есть “Райского”. Я продолжал обрабатывать в голове “Обломова” и также “Обрыв”, набросав, по обыкновению, кучи листков, клочков с заметками, очерками лиц, событий, картин, сцен и проч.[9]

В Петербурге я и служил и писал очень лениво и редко, пока все еще материалы обоих романов до 1852 года. В этом году, в октябре, я ушел на фрегате “Паллада” вокруг света. На море, кроме обязанности секретаря при адмирале Путятине, еще учителя словесности и истории четверым гардемаринам, я работал только над путевыми записками, вышедшими потом в двух томах под названием «Фрегат “Паллада”». Обе программы романов были со мной, и я кое-что вносил в них, но писать было некогда. Я весь был поглощен этим новым миром, новым бытом и сильными впечатлениями. В начале 1855-го года, именно в феврале, я вернулся через Сибирь в Петербург.

Там я застал весь литературный кружок в сборе: Тургенев, Анненков, Боткин, Некрасов, Панаев, Григорович. Кажется, тогда уже явился и граф Лев Ник<олаевич> Толстой, сразу обративший на себя внимание “Военными рассказами”. Если не ошибаюсь, тогда же был в Петербурге и другой граф, Алексей Конст<антинович> Толстой (впоследствии автор “Смерти Иоанна Грозного”). Я познакомился с обоими не помню у кого: кажется, у князя Одоевского или у Тургенева[10]. Граф А. Толстой потом уехал, а Лев Николаевич (не помню хорошенько,

тогда ли граф Лев Т<олстой> или позже был в Петербурге) оставался тут и сходился с нами почти ежедневно — опять все у тех же лиц — Тургенева, Панаева и проч.

Говорили много, спорили о литературе, обедали шумно, весело — словом, было хорошо. Тогда и цензура стала легче. В 1856 году мне предложено было место цензора — и я должен был его принять[11]. Я издавал тогда свои путевые записки[12], и это отвлекало меня от главных моих литературных трудов — “Обломова” и “Райского”.

Еще с 1855 года я стал замечать какое-то усиленное внимание ко мне со стороны Тургенева. Он искал часто бесед со мной, казалось, дорожил моими мнениями, прислушивался внимательно к моему разговору. Мне это было, конечно, не неприятно, и я не скупился на откровенность во всем, особенно в своих[*14]литературных замыслах. Особенно прилежно он следил, когда мне случалось что-нибудь прочитывать.

Так, например, раздавая по журналам главы из своих “Путевых записок”, я имел обыкновение прочитывать то, что было готово, нескольким человекам. Тургенева я не хотел обременять чтением этих легких описаний, однако он, как помню, узнав, что я буду читать какую-то главу у Майкова, приехал туда [13]. Словом, он очень следил за мной — и это сближало меня с ним, так что я стал поверять ему все, что ни задумаю[*15].

И вот однажды, именно в 1855 году, он пришел ко мне на квартиру (в доме Кожевникова, на Невском проспекте, близ Владимирской) и продолжал, молча, вслушиваться в мои *искренние излияния*, искусно расспрашивать, что и как я намерен делать. (“Обломова” написана была первая часть и несколько глав далее [14]. Он уже знал все это подробно). Я взял — да ни с того, ни с сего вдруг и открыл ему не только весь план будущего своего романа (“Обрыв”), но и пересказал все подробности, все готовые у меня на клочках программы сцены, детали, решительно все, все. “Вот что еще есть у меня в виду!” — сказал я.

Он слушал неподвижно, притаив дыхание, приложив почти ухо к моим губам, сидя близь меня на маленьком диване в углу кабинета. Когда дошло до взаимных признаний Веры и бабушки, он заметил, что “это хоть бы в романе Гете”.

Вместо нигилиста Волохова, каким он вышел в печати, у меня тогда был намечен в романе сосланный под надзор полиции, *по неблагонадежности*, вольнодумец[*16]. Но такого резкого типа, каким вышел Волохов, не было, потому что в 40-х годах нигилизм еще не проявился вполне. А посылали по губерниям часто заподозренных в вольнодумстве лиц. Но как я тянул, писал долго, то и роман мой видоизменялся сообразно времени и обстоятельствам. Я был вторично в 1862 году на Волге — и тогда Волоховы явились повсеместно уже такими, каким он изображен в романе. Потом, по первоначальному плану, Вера, увлекшись Волоховым, уехала с ним в Сибирь, а Райский бросил родину и отправился за границу и через несколько лет, воротясь, нашел новое поколение и картину счастливой жизни. Дети Марфиньки и проч.[15]

Была у меня предположена огромная глава *о предках Райского*, с рассказами мрачных, трагических эпизодов из семейной хроники их рода, начиная с прадеда, деда, наконец отца Райского[16]. Тут являлись один за другим фигуры елизаветинского современника, грозного деспота и в имении, и в семье, отчасти самодура, семейная жизнь которого изобиловала насилием, таинственными кровавыми событиями в семье, безнаказанною жестокостью, с безумной азиятской роскошью. Потом фигура придворного Екатерины, тонкого, изящного, развращенного[*17] французским воспитанием эпикурейца, но образованного поклонника энциклопедистов, доживавшего свой век[*18] в имении между французской библиотекой, тонкой кухней и гаремом из крепостных женщин.

Наконец следовал продукт начала 19-го века — *мистик, масон*, потом герой-патриот 12—13—14 годов, потом декабрист и т. д. до Райского, героя “Обрыва”.

Все это я рассказывал, как рассказывают сны, с увлечением, едва поспевая говорить, то рисуя картины Волги, обрывов, свиданий Веры в лунные ночи на дне обрыва и в саду, сцены ее с Волоховым, с Райским и т. д., сам наслаждаясь и гордясь своим богатством и спеша отдать на поверку тонкого, критического ума.

Тург<енев> слушал, будто замер, не шевелясь. Но я заметил громадное впечатление, сделанное на него рассказом.

Я ему сказал и о Софье Беловодовой, и о смерти Наташи, сделал[*19] как будто осмотр всем этим женщинам, из которых каждая носит свой характер.

Распространился и об учителе Козлове: о его школьном времени, как над ним смеялись — все, как он ел, ничего не замечая, даже когда снимали с него и прятали шляпу, как потом он женился и как обманывала его жена. Словом, все j'ai vidé mon sac![*20].

И окончив, я сказал следующее:[*21] "Вот, если бы я умер, Вы можете найти тут много для себя! Но пока жив, я сделаю сам!" Тург<енев> тщательно расспросил меня, не говорил ли я кому-нибудь об этом еще. Я сказал, что никому, но однако вскоре после того я, при Тургеневе же, рассказывал то же самое и Дудышкину, также Дружинину и возвращался к рассказу в несколько приемов. И кажется, только. У меня и теперь есть письмо, где Тургенев пишет, что "*он никогда не забудет сцен, событий и проч., рассказанных ему и Дудышкину*"[17]. И действительно не забыл, как оказалось после! Он, должно быть, придя домой, все записал, что слышал, слово в слово.

Потом я забыл, конечно, об этих рассказах — я стал заниматься Обломовым. В 1857 году я поехал за границу, в Мариенбад, и там взял курс вод и *написал в течение семи недель почти все три последние тома* "*Обломова*", кроме трех или четырех глав. (Первая часть была у меня написана прежде.) В голове у меня был уже обработан весь роман окончательно, и я переносил его на бумагу, как будто под диктовку. Я писал больше печатного листа в день, что противоречило правилам лечения, но я этим не стеснялся[18].

С какою радостью поехал я с своею рукописью в Париж, где знал, что найду Тургенева, В. П. Боткина, и нашел еще Фета, который там женился на сестре Боткина. Я читал им то или другое место, ту или другую главу из одной, из другой, из третьей части — и был счастлив, что кончил[19].

Тургенев как-то кисло отозвался на мое чтение. "Да, хоть и вчерне, а здание кончено, стоит!" — сказал он почти уныло, чем несколько удивил меня[20]. Я приписал это слабости моего пера. Весь 1858 год я посвятил отделке, а в 1859 году[*22] (кажется, я не ошибаюсь в годах) я напечатал его в "Отечественных записках", в 4-х книжках: янв<арской>, февр<альской>, март<овской>) и апрельской. Успех превзошел мои ожидания. И Тургенев однажды заметил мне кратко: "Пока останется хоть один русский, — до тех пор будут помнить Обломова" [*23]. В другой раз, когда я читал ему последние, написанные уже в Петербурге главы, он [*24] быстро встал (в одном месте чтения) с дивана и ушел к себе в спальню. "Вот, я уж старый воробей, а вы тронули меня до слез", — сказал он, утирая глаза. (Мимоходом замечу, что эти тронувшие меня фразы почти целиком через десять лет очутились потом в романе Ауэрбаха "Дача на Рейне".)

Надо заметить, что во все это время, с 1855 по 1858 и 1859-й годы, Тургенев продолжал писать свои миниатюрные "Записки охотника" и повести, кажется, "Ася", "Фауст", "Муму" и т. п., все, по большей части, прелестно рассказанные, обделанные, с интересными иногда поэтическими деталями, например, описание Рейна в "Асе" и т. п.[21]. Но от него все ждали чего-то крупного, большого, и в литературе, и в публике!

А у него ничего большого не было и быть не могло. Он весь рассыпался на жанр. Таков род

его таланта! Однажды он сам грустно сознался в этом мне и Писемскому. “У меня нет того, что у вас есть обоих: типов, характеров, то есть плоти и крови!” Причиной того, что он не творит чего-нибудь крупнее, больше (и зачем? Разве в сумме все эти собранные мелочи не составили бы одного крупного целого, если б он продолжал идти *своим* путем!) — он приводил болезнь почек (боль в мочевом пузыре), которую будто бы он нажил в парижском климате. После он ссылался на подагру. И в самом деле, у него кисти нет, везде карандаш, силуэты, очерки, все верные, прелестные! И чем ближе к сельской природе средней полосы России, чем ближе к крестьянскому, мелкопомещичьему быту, тем эти очерки живее, яснее, теплее! Тут он необычайный художник, потому что рисует с натуры свое, знаемое ему и им любимое! [22] Везде, в другом месте, он не создает, а *сочиняет*, и притом как будто пересочиняет слышанное (что и действительно[*25] было так, как увидим ниже), и все его герои и героини так назыв<аемых> больших его повестей, если (как например Феничка в “Отцах и детях”) не взяты им из сельской среды, все бледны, как будто не кончены, не полны, не созданы им, а отражены на его полотне из какого-то постороннего зеркала! Так оно и есть!

Я сказал, что он охотно слушал меня, вызывал на разговоры, на переписку — и я[*26] стал замечать, что кое-что из моих слов у него как будто мелькнет потом, в повести. Наконец однажды я прочел где-то у него, не помню в какой повести, маленькую картинку из “Обломова”, и именно когда этот последний сидит в парке, в ожидании Ольги, и всматривается кругом, как все живет и дышит около него — на деревьях, в траве — как бабочки в вальсе мчатся попарно около друг друга, как жужжат пчелы, что ли, и т. д. — вся картинка, как есть![23]Но я мало обратил внимания на это и считал его наиболее всех к себе расположенным. Мне только странно казалось, что он нуждается в таких пустяках! Я — как и все — считал его талант крупнее, ум производительнее — нежели и то и другое у него было!

Наконец вот чем разрешилась и разгадалась его дружба и особенное внимание ко мне!

Однажды осенью, кажется в тот же год, как я готовился печатать “Обло-мова”, Тургенев приехал из деревни или из-за границы — не помню, и привез новую повесть “Дворянское гнездо” для “Современника”. Он нанял квартиру в Большой Конюшенной, в доме Вебера, на дворе.

Все готовились слушать эту повесть, но он сказывался больным (бронхит) и говорил, что читать сам не может... Взялся читать ее П. В. Анненков. Назначили день [24]. Я слышал, что Тургенев приглашает к себе обедать человек восемь или девять и потом слушать повесть. Мне он ни слова не сказал ни об обеде, ни о чтении: я обедать и не пошел, а после обеда отправился, так как мы все, без церемонии, ходили друг к другу, то я нисколько не счел нескромным придти вечером к чтению. Едва я вошел, все напустились на меня, зачем я не пришел к обеду, потому что все знали, как мы были коротки с Тургеневым.

Я сказал, что как люди ни коротки между собою, но когда одних зовут, а других нет, то этим другим к обеду приходить не следует. “Меня не звали к обеду, я и не пришел”, — заключил я.

Какое удивленное *лицо сделал* Иван Сергеич! Как невинно поглядел на меня. “Я вас звал, как же, я звал вас!” — бормотал он. “Нет, вы меня не звали!” — сказал я решительно. Он больше не возражал, и вскоре Анненков начал читать. Все знают “Дворянское гнездо”; теперь оно, конечно, по времени побледнело, но тогда произвело большой эффект.

Что же я услышал? То, что за три года я пересказал Тургеневу, — именно сжатый, но довольно полный очерк “Обрыва” (или “Художника”, как называли в программе роман).

Основанием повести[*27] взята была именно та глава *о предках Райского*, о которой я упомянул выше, и по этой канве выбраны и набросаны были лучшие места, но сжато, вкратце;

извлечен был весь сок романа, дистиллирован и предложен в отделанном, обработанном, очищенном виде. У меня *бабушка*, у него *тетка, две сестры*, племянницы, Лаврецкий, схожий характером с Райским, также беседует по ночам с другом юношества, как Райский с Козловым, свидания в саду и прочее. Разумеется, я не мог передать на словах, например, ему всей изменчивой, нервной, художнической натуры Райского — и у него вышел из него [*28] то Лаврецкий, то Паншин. Он не забыл и фигуры немца — истинного артиста. У меня[*29] бабушка достает старую книгу — и у него старая книга на сцене[*30]. Словом, он снял слепок со всего романа — и так как живопись и большая картина жизни — не его дело, он не сладил бы с этим, он и оборвал роман, не доведя его до конца. У меня верующая Вера, и у него — религиозная[*31] Лиза, с которой он не знал, как кончить, и заключил ее в монастырь. После Анненков ему сказал,[*32] что не видно источника ее религиозности — и тогда Тургенев приделал какую-то набожную няню[25]. Миниатюристу не под силу была широкая картина жизни — и он вот что сделал: разбил все большое здание на части, на павильоны, беседки, гроты, с названиями: Ma solitude, Mon repos, Mon hermitage[*33], то есть “Дворянское гнездо”, “Накануне”, “Отцы и дети”, “Дым”.

Но об этом ниже. Не стану забегать вперед. Чтение кончилось. Я понял, отчего Тургенев не пригласил меня обедать: он надеялся, что я не приду и вечером, к чтению, а “потом-де, когда напечатается, говори что хочешь!” Я понял, как ему, должно быть, скверно было во время чтения следить за мной!

Стали судить, толковать, конечно хвалить. Тут был весь кружок: Некрасов, Панаев, В. П. Боткин, Языков, Маслов, Тютчев и, кажется, граф Лев Толстой.

Я дал всем уйти и остался с Тургеневым. Мне надо было бы тоже уйти, не говоря ни слова, и бросить этот роман совсем. Но этот роман — была моя жизнь: я вложил в него часть самого себя, близких мне лиц, родину, Волгу, родные места, всю, можно сказать, свою и близкую мне жизнь. Пересказывая этот роман Тургеневу, я заметил, что кончив “Обломова” и этот роман, то есть “Райского”, — *я кончу все, что мне на роду написано, и больше ничего писать не буду. О, как он заметил и запомнил эти мои слова*!

А надо бы было уйти, не говоря ни слова, и я ушел бы и бросил перо навсегда, если б знал все вперед, что случилось после и что тянется еще до сих пор!

Я остался и сказал Тургеневу прямо, что прослушанная мною повесть есть не что иное как *слепок с моего романа*. Как он побелел мгновенно, как[*34] клоун в цирке, как заметался, засюсюкал. “*Как, что, что вы говорите: неправда, нет! Я брошу в печку*!”

Во всяком слове, во всяком движении — было признание, которого не могла прикрыть ложь.

— “*Нет, не бросайте*, — сказал я ему, — *я вам отдал это — я еще могу что-нибудь сделать. У меня много*!” Тем и кончилось. Я ушел.[*35] Я увиделся с Ду-дышкиным, который, кажется, тоже был на чтении. Он захохотал при первых словах и сказал:[*36] “*Да, он очень искусно повыбрал у вас из рассказа*!”[*37]

Я пожалел, конечно, каялся в своей доверчивости, но хода этому давать никакого не хотел и решил выключить из своей программы всю главу о предках Райского вон, что и сделал. Отношения с Тургеневым стали у нас натянуты.

Мы виделись, и не раз, объяснились с ним: я указывал ему все заимствования, он защищался. Наконец он предложил дать мне письмо, в котором намеревался упомянуть обо всем, что он от меня слышал, то есть повторить вкратце пересказанный ему мною роман. Я равнодушно отозвался на это предложение, но он пожелал настоятельно дать это письмо.

Пришел ко мне и стал писать, потом прочел мне. Начал он так: “Действительно, я сам в начале вижу сходство, явившееся, вероятно, под влиянием слышанного от Вас романа, а далее я скорее вижу разницу”. (Письмо это где-то завалялось у меня: оно, как я после увидел, нужно было не мне, а ему самому. Приведенные оттуда строки, выражая вполне смысл, с подлинником не согласны буквально, — а письма искать долго). И после этого вступления он начал обозначать разницу. В обстановке, конечно, есть разница: у меня Волга, у него — другое место, у меня Райский, у него какой-то дилетант Паншин, у меня бабушка, у него тетка — и много такого нашел он[27].

Когда я заметил ему, отчего ж он не приводит в письме о падении Веры (в плане он называлась у меня Еленой), о сценах между ею и Бабушкой, он замялся: ему очевидно не хотелось упоминать об этом — по будущим своим соображениям. Но нечего делать — упомянул. Об учителе Козлове, как он учился, как женился на дочери эконома, что такое была эта Улинька, ее отношения к мужу: о том ни слова. И дал мне это письмо, я бросил его в ящик — и тем дело кончилось[28].

Мы сухо продолжали видеться. “Дворянское гнездо” наконец вышло в свет и сделало огромный эффект, разом поставив автора на высокий пьедестал[29]. Так как оно писано было вскоре после рассказа моего, то и вышло полнее, сочнее, сложнее и колоритнее всего, что он написал и прежде и после него. “*Вот и я — лев! Вот и обо мне громко заговорили*!” — вырывались у него самодовольные фразы даже при мне! Он везде бывал, все лезли к нему, всех он ласкал, очаровывал мягкостью, снисхождением, не пренебрегая ничьим вниманием, не скучая никакою назойливостью, водя за собой целый круг, принимая у себя во всякое время, прикармливая обедами, являясь повсюду, куда его ни звали.

У него завелась своего рода clienteile[*38], род маленькой дружины, которая все готова была делать для него и за него. Съездить куда-нибудь, достать что-нибудь, попросить, похлопотать. Сейчас бежали послушные друзья: Н. Н. Тютчев, И. И. Маслов, более всех П. В. Анненков[*39] Последний был то, что в старых комедиях и трагедиях[*40] называлось наперсником. Неглупый, образованный, он любил литературу и состоял каким-то кумом [*41] при звездах первой величины. Был он близок к Гоголю, который называл его Жюль, Гоголь умер, Анненков счел Тургенева достаточно великим и примазался к нему. Тургенев, лаская этих своих слуг, мастер был извлекать из них ежеминутную пользу. После 1855-го года он, можно сказать, начал постепенно выселяться из России за границу. И вот, оттуда-то он командовал этим друзьям, все более Анненкову. “Пришлите то, справьтесь об этом, доставьте сие, прикажите оное”, — писал он и заключал: “Жму вашу руку”. Кто-то[*42] видел одно такое письмо и сказывал, что в нем было 14 поручений, означенных №№ 1, 2, 3 и т. д.

Я вел себя совершенно противуположно: я литературно сливался с кружком, но во многом, и именно в некоторых крайностях отрицания, не сходился и не мог сойтись с членами его. Разность в религиозных убеждениях и некоторых других[*43] понятиях и взглядах мешала мне сблизиться с ними вполне. Более всего я во многом симпатизировал с Белинским: прежде всего с его здоровыми критическими началами и взглядами на литературу, с его сочувствием к художеств<енным> произведениям, наконец с честностью и строгостью его характера. Но меня поражала и иногда даже печалила какая-то непонятная легкость и скорость, с которою он изменял часто не только те или другие взгляды на то или другое, но готов был по первому подозрению менять и свои симпатии. Словом, меня пугала его впечатлительность, нервозность, способность увлекаться, отдаваться увлечению и беспрестанно разочаровываться. Это на каждом шагу: в политике, науке, литературе. Мне бывало страшно[30]. А он был лучший, самый искренний, честный, добрый! Я, повторяю, не сближался сердечно со всем кружком, для чего

нужно бы было измениться вполне, отдать многое, все, чего я не мог отдать. Мне было уже 35 или 36 лет — и потому я, развившись много в эстетическом отношении в этом кругу, остался во всем прочем верен прежним основам своего воспитания. Я ходил по вечерам к тому или другому, но жил уединенно, был счастлив оказанным мне, и там, и в публике, приемом, но чуждался (между прочим, по природной дикости своего характера) тесного сближения с тем или другим, кроме семейства доброго Мих<аила> Языкова, где меня любили как родного, и я платил*[44] тем же.

Мне казалось, и я потом убедился в этом, что одна литература бессильна связать людей искренно между собою, но что она скорее способна разделять их друг с другом. Во всех сношениях членов кружка было много товарищества, это правда, размена идей, обработки понятий и вкуса. Но тут же пристальное изучение друг друга — много и отравляло искренность сношений и вредило дружбе. Все почти смотрели врознь, и если были тут друзья, то никак не друзья по литературе.

Один Белинский был почти одинаков ко всем, потому что все платили ему безусловным уважением. А другие, например, Панаев с Боткиным были дружны совсем не ради литературы, а они любили “шалить”, волочиться вместе — и это сближало их друг с другом, как и Дружинина с Григоровичем.

Я мог привязаться к Белинскому, кроме его сочувствия к моему таланту, за его искренность и простоту. Но я не мог поручиться, что это осталось бы за мной надолго, по его впечатлительности. Привязался бы я и к Тургеневу — но по мере того, как я его разглядывал, я убеждался в глубокой и неизлечимой фальшивости его натуры. Если хотите, все были хороши между собою, все уважали друг друга, сходились, приятно беседовали, но друзей тут не было. Повторяю, литература не делает друзьями, а врагами может делать людей.

И Тургенев, также и его слуги, — не любили друг друга. Он щекотал их самолюбие своей дружбой к ним, а они были ему полезны.

“Что за человек Анненков? — спросил я однажды Тургенева, потому что знал Анненкова мало. — Мне кажется, он как-то холоден и с ним мне неловко. Я не знаю, о чем говорить”. — *Анненков очень хорош, напротив, особенно когда надо его пустить, как бульдога, на противников*”. Вот как выразился Тургенев о лучшем из своих друзей, пособников, защитников, наперсников.

Про другого друга, № 2, он отозвался еще лучше — в одну из откровенных минут. “Я хочу писать повесть, — сказал он мне однажды, — вывести типы *тупцов, тупых людей* — вот, например, Николай Николаевич (Тютчев)!” Эти разговоры происходили до нашего разрыва, конечно. А этот Тютчев распинался за него и распинается до сих пор, как за святого.

Мы продолжали, говорю я, видеться с Тургеневым, но более или менее холодно. Однако посещали друг друга, и вот однажды он сказал мне, что он намерен написать повесть и рассказал содержание...[31] Это было продолжение той же темы из “Обрыва”: именно дальнейшая судьба, драма Веры[32]. Я заметил ему конечно, что понимаю его замысел — мало-помалу вытаскать все содержание из Райского, разбить на эпизоды, поступив, как в “Дворянском гнезде”, то есть изменив обстановку, перенеся в другое место действие, назвав иначе лица, несколько перепутав их, *но оставив тот же сюжет, те же характеры, те же психологические мотивы*, и шаг за шагом итти по моим следам! Оно и то, да не то!

А между тем цель достигнута — вот какая: когда-то еще я соберусь оканчивать роман, а он уже опередил меня, и тогда выйдет так, что не он, а я, так сказать, иду по его следам, *подражаю ему*! Так все и произошло и так происходит до сих пор! Интрига, как обширная сеть, раскинулась далеко и надолго.

Тургенев выказал гениальный талант интриги — и на другом поприще, с другими, высокими, патриотическими и прочими целями, конечно, из него вышел бы какой-нибудь Ришелье или Меттерних, но с своими узенькими, эгоистическими целями он является каким-то литературным Отрепьевым.

В кружке уже знали о нашей первой размолвке, но поговорили и замолчали. И я решил, конечно, молчать, потому что смешно же протестовать против готовой и напечатанной повести с романом en herbe*[45], в программе, известном только маленькому кружку!

Новый замысел Тургенева вывел меня из терпения — и я сказал о нем прежде всего Дудышкину, с которым был знаком у Майковых, прежде нежели он и я сделались литераторами[33]. Дудышкину было и смешно и странно смотреть, как Тургенев мгновенно бледнел и конфузился, когда я намекал нарочно при нем и при других то на "Дворянское гнездо", то на новую повесть, и переглядывался при этом с Дудышкиным. Может быть, так это и продолжалось бы ad infinitum*[46], но сам же Дудышкин довел неловкостью своей дело до взрыва.

У него была страстишка подзадоривать людей, когда начинался какой-нибудь спор, и он любил посмеяться, когда обе стороны начнут горячиться, сделают сцену и т. п. Это его веселило, и он охотник был, где можно, стравливать. Конечно, это — не похвальная черта, но это делал он в пустяках, больше в шутку. Но тут шутка вышла плохая, и едва не кончилась серьезно.

Новая эта повесть, с продолжением темы из Райского, вышла под заглавием "Накануне", но я в печати ее не прочел, а знал только по рассказу Тургенева [34]. Мы с Дудышкиным продолжали пересмеиваться между собою, а Тургенев смущаться при намеках. Однажды я встретил Дудышкина на Невском проспекте и спросил, куда он идет. "К бархатному плуту (так звали мы его про себя) обедать". — "Это на мои деньги (разумея гонорарий, полученный за повесть "Накануне"), — заметил я шутя, — будете обедать". — "Сказать ему?" — спросил смеючись Дудышкин. — "Скажите, скажите!" — шутя же заметил я, и мы разошлись.

Кто бы мог подумать, что Дудышкин сказал! А он сказал, да еще при пяти или шести собеседниках! Он думал, конечно, что Тургенев опять смутится, а он будет наслаждаться его смущением. Но Тургенев был прижат к стене: ему оставалось или сознаться, чего конечно он не сделает никогда, или вступиться за себя. На сцену, разумеется, появился Анненков, его кум, адъютант и наперсник. На другой день оба они явились ко мне, не застали дома и оставили записку с вопросом, "что значат мои слова, переданные мною через Дудышкина?" [35] Я пришел к Дудышкину и показал*[47] ему записку, спрашивая, в свою очередь, что значит эта записка?

"Вы ведь велели сказать ему ваши вчерашние слова", — робко заметил он. — "Не может быть, чтоб вы не шутя это думали. А если б я попросил вас ударить его — вы ударили бы?" — сказал я.

Дудышкин понял, какую непростительную глупость сделал он. Он был добрый, честный человек, очень умный, даже несколько себе на уме, осторожный, уклончивый — и тут вдруг так грубо ошибся, увлекшись своей страстишкой дразнить людей. Он подвержен был желтухе, и с этого же дня заметно пожелтел и похудел.

Я сказал ему только, что если это поведет к серьезному исходу, то есть к дуэли, например, то я имею полное право рассчитывать на него, как на секунданта. Он согласился, но взял у меня записку[36], сказав, что повидается с Тургеневым и ответит ему как за себя, так и за меня, без всякого для меня ущерба. Я заметил ему только, что от своих слов не отопрусь.

Я не знаю или забыл теперь, что он говорил, помню только, что решено было с обеих сторон объясниться по этому делу окончательно, пригласив несколько других свидетелей. Пригласили, кроме Анненкова и Дудышкина, еще Дружинина и А. В. Никитенко — и

объяснение произошло у меня[37]. Но из этого конечно выйти ничего не могло. Роман, большею частию, пересказывался наедине, потом в присутствии Дудышкина, частию Дружинина. Последние оба, мало интересуясь программой, знали только общий план романа — и следовательно не могли ни подтвердить, ни опровергнуть. Никитенко был приглашен как почетный свидетель, известный мягким своим характером. Анненков был кум и наперсник и держал заранее сторону Тургенева, quand même[*48], потому что тут было затронуто и его наперсническое самолюбие. А Дудышкин, виновник всей этой кутерьмы, был смущен более нас обоих, то есть Тургенева и меня. Тургенев был очень бледен сначала а я красен. Он боялся, что я энергично стану защищать, с доказательствами в руках и напомню все последовательно, указав каждое место, какое взято, как оно изменено, в чем сходство и т. д.

Но я был смущен не менее его и не рад был, что затеялась вся эта история. Он конечно потребовал юридических доказательств, которых не было кроме моей изветшавшей от времени программы, в которой я один только и мог добраться смысла[*49]. Когда мы уселись, то начали тем, что рассказали историю первой размолвки, с прочтением навязанного им мне письма в котором упомянуто было кое-что из моего романа, а о том[*50], что он хотел взять себе, умолчано[38].

Здесь Тургенев проявил образчик того актерства, которое составляет основу его характера и всей жизни. Последняя вся — есть не что иное, как ряд искусственных, более или менее тонко *обдуманных и рассчитанных*проявлений и сцен. Я не думаю, чтобы оставаясь один у себя в комнате, он сел на стул или встал без расчета, без задней мысли, искренно. Никогда и нигде! И тут он[*51] ловко сыграл эту сцену и конечно обманул всех, кроме меня и Дудышкина. Последний знал его тонко и прежде еще говаривал: “Я с наслаждением наблюдаю, как он лжет!”

“Обмануть доверие товарища!” — говорил Тургенев по мере того, как я сам, подавленный этой тяжелой сценой, слабо, в нескольких словах, сказал о том, какое сходство вижу у него и у себя — и неохотно вдавался во все мелочи, памятные мне и Тургеневу и утомительные для прочих. Я понимал, что всем им, как равнодушным людям, только скучно от всего этого и что привлечь их к мелочному участию я не могу. Дружинин и Никитенко старались умиротворить все общими фразами: “Вы оба честные, даровитые люди — могли, дескать, сойтись случайно в сюжетах; один, мол, то же самое изображает так, другой иначе”... и т. д.

Тургенев напирал на то, чтоб указать сходство в повести “Накануне” и наконец сказал, что я, верно, не читал ее. Это правда, но я помнил его рассказ. “А вы прочтите, непременно прочтите!” — требовал он. Я обещал.

По поводу этой повести он употребил грубый до смешного прием. Героиню там зовут Еленой, и у меня в плане вместо Веры прежде была Елена. “Если б захотел взять, так хоть имя-то переменил бы!” — сказал он.

Он приободрился, Анненков тоже стал ликовать, видя, что его патрон и кум выходит сух из воды[39]. Я молчал перед этой беззастенчивостью, видя, что я потерял всякую возможность[*52] обличить правду[*53] и пожалел опять, что не бросил сразу все. Все мы встали. “Прощайте, — сказал я, — благодарю вас, господа, за участие”. Тургенев первый взялся за шляпу, из бледного и смущенного он сделался красным, довольный тем, что я юридически доказать не мог его plagiat[*54], как он выразился, не решаясь перевести слова на русский язык — et pour cause[*55].

“Прощайте, И<ван> А<лександрович> — эффектно произнес он, — мы видимся в последний раз!” И ушел торжествующий. Тут и Дудышкин поднял смелее голову, видя, что дело не кончилось ничем.

Так мы и расстались на несколько лет, не встречались нигде, не кланялись друг другу. Я еще более уединился у себя. Я потом пробежал “Накануне” и что же? Действительно, мало сходства! Но я не узнал печатного “Накануне”. Это была не та повесть, какую он мне рассказывал! Мотив остался, но исчезло множество подробностей. Вся обстановка переломана. Герой — какой-то болгар[40]. Словом, та и не та повесть! Значит, рассказывая мне ее, он, так сказать, пробовал, узнаю ли я продолжение Веры и Волохова[*56], и видя, что я угадываю его замысел, он изменил в печати многое. На это он просто — гений! Так он продолжал поступать и далее, и все свои заимствования у меня подвел под эту систему (как увидим ниже) искажения обстановки, то есть места, званий действующих лиц (с удержанием характеров), имен,[*57], национальностей и т. д.

Я, однако, продолжал писать свой роман. В 1860 и 1861 годах я поместил отрывки (“Бабушка”, “Портрет”, “Беловодова”) в “Современнике” и “От<ечественных> записках”[41] — и продолжал, в наивности своей, читать и рассказывать (не Тургеневу конечно, с которым мы не виделись, а Дружинину, Боткину и прочим), что делаю. Тургенев обо всем осведомлялся и знал.

Так прошло, кажется, несколько лет — до смерти А. В. Дружинина, не помню, в котором году (кажется, в 1864 г.). Летом я урывался от службы в отпуск и продолжал писать роман — вяло, тихо, по нескольку глав, а в Петербурге, под серым небом, большею частию в дурную погоду, мне не писалось.

На похоронах Дружинина[42], на Смоленском кладбище, в церкви ко мне вдруг подошел Анненков и сказал, что “Тургенев желает подать мне руку — как я отвечу?” “Подам свою”, — отвечал я, и мы опять сошлись как ни в чем не бывало. И опять пошли свидания, разговоры, обеды — я все забыл. О романе мы не говорили никогда ни слова с ним. Я только кратко отвечал, что продолжаю все писать — летом, на водах.

Тургенев затеял это примирение со мной, как я увидел потом, вовсе не из нравственных побуждений возобновить дружбу, которой у него никогда и не было. Ему, во-1-х, хотелось, чтобы эта ссора, сделавшаяся известною после нашего объяснения при свидетелях, забылась, а вместе с нею забылось бы и обвинение мое против него — в похищении, или плагиате, как он осторожно выражался. Во-2-х, ему нужно было ближе следить за моею деятельностью и мешать мне оканчивать роман, из которого он заимствовал своих “Отцов и детей” и “Дым”,[*58] заходя вперед, чтобы ни в нашей литературе, ни за границею не обличилась его слабость и источник его сочинений. Чтобы отвести подозрение, он по временам писывал и свое: очень хорошенькие, хотя и жиденькие рассказы — вроде “Ася”, “Первая любовь”[43]. Во мне он видел единственного соперника, пишущего в одном роде с ним: Толстой (Лев) еще только начал свои рассказы военные, Григорович писал из крестьянского быта, Писемский и Островский пришли позднее. Словом, я один стоял поперек его дороги — и он *всю жизнь свою положил*, чтобы растаскать меня по клочкам, помешать всячески перевести меня — и там, в иностранных литературных и книгопродавческих кружках — критикою своего рода предупредить всякую попытку узнать обо мне. Ему там верили, потому что его одного лично знали — оттого он и успел. Он начертал себе план — разыграть гения, главу нового литературного периода и до сих пор удачно притворяется великим писателем.

Летом я из Мариенбада раза два приезжал в Баден-Баден, где жил Тургенев, близко семейства Виардо[44]. Я писал и там, но ничего Тургеневу не показывал и не говорил. Однажды только я по какому-то поводу вскользь намекнул ему: “Помните, в романе у меня”... Он не дал мне договорить, весь изменился в лице и скороговоркой пробормотал: “Нет, ничего, ничего не помню!”

Он так brusquement[*59] прервал меня, что я остановился в удивлении и посмотрел на него.

Он был бледен и глядел в сторону. Я уже никогда и не заговаривал с ним.

Он там читал мне и Феоктистову какую-то повестцу, кажется, “Бригадира”, что ли[45]. Но о моей работе я уже с ним ни разу и не заговаривал. Между тем до того времени вышли его повести “Отцы и дети” и “Дым”[46]. Потом уже, долго спустя, прочел я их обе и увидел, что и содержание, и мотивы, и характеры первой почерпнуты все из того же колодезя, из “Обрыва” — а в “Дыме” взят только мотив *дыма* (у меня *миража*. Гл. XX, том I, ч. II, стран. 509. Изд. 1870. “Обрыв”).

Он великий мастер в этих подделках или *параллелях*. Он, как пенку с молока, снимет слегка общую идею:[*60] отношения старых поколений к новым, и — так как образы его не выражают ее пластично, то он намекнет на нее в заглавии — “Отцы и дети”, например. Скудость содержания и вымысла мешают ему стать на свой собственный путь. Так, и в “Отцах и детях” он опять повторил[*61] даже внешнюю программу “Обрыва”, опять (как там Райский и Волохов) его новые герои приезжают в провинцию, опять повторил он, как в “Дворянском гнезде” и в “Обрыве”, старуху, как у меня Бабушка, у него тетка, опять две героини (вроде Веры и Марфиньки) — Одинцова и Феничка, отдаленные подобия Веры и Марфиньки — из другой сферы.

Но повторивши два раза одну и ту же старуху — он все-таки, как ни старался, не одолел моей Бабушки — старухи. Он многими годами заскакал вперед, но когда вышел “Обрыв”, Бабушка сделала общее и лестное для меня впечатление, а о его старухах и помина не было. Это понятно: он писал не то, что родилось и выросло в нем самом, а то, что отразилось от рассказа — и оттого вышло бледнее.

Но здесь надо отдать полную справедливость его тонкому и наблюдательному уму: его заслуга — это очерк Базарова в “Отцах и детях”. Когда писал он эту повесть, нигилизм обнаружился только, можно сказать, в теории, *нарезался*, как молодой месяц, но тонкое чутье автора угадало это явление и — по его силам, насколько их было, — изобразило в законченном и полном очерке нового героя. Мне после, в 60-х годах, легче было писать фигуру Волохова с появившихся массой типов нигилизма — и в Петербурге и в провинции.

Его претензия: 1-е, *помешать мне* и моей репутации, и 2-е, *сделать из себя первенствующую фигуру* в русской литературе и распространить себя за границей. Словом, он хотел занять то место, которое занимали Пушкин, Лермонтов, Гоголь, так сказать преемственно, не имея их гения, производительного глубокого ума и силы фантазии. Яркий талант миниатюриста да необыкновенная кошачья ловкость помогли ему до некоторой степени помощью чужого, то есть моего добра и своего вместе, образовать из себя какой-то faux-air[*62] первого писателя, quasi-[*63] главы новой школы реальной повести. Эту роль он и разыгрывает, особенно за границей. Не знаю, удастся ли это ему до конца?

Продолжаю. Я ничего уже не говорил ему по поводу “Отцы и дети” и “Дыма”, даже хвалил первую, а вторую прочел только в декабре прошлого (1875-го) года и увидел там мой мотив из “Обрыва”, как выше упомянуто, с переделкою *миража* в дым[47]. Этот “Дым”, как художественное произведение, ничтожно. Кажется, нет ни одной личности, ни одного почти штриха артиста. Это памфлет против русского общества,[*64] то есть против призрачности русской жизни и quasi деятельности.[*65] Здесь он выбрал и развел в воде все, что у меня мимоходом сказано на вышесказанной странице (509, гл. XX, том I, ч. II, изд. 1870) “Обрыва”, и, кроме того, распространился о самородках (в разговоре Потугина с Литвиновым), то есть о чем у меня говорит Райский с Волоховым ночью, за пуншем (гл. XIV) в том же томе. Все это взято, разбросано, чтобы *приписать себе почин этих идей*: а другие, мол, идут за мной. От этого у него эта бледность, отсутствие всякого созидания, особенно в “Дыме”, которого почти читать нельзя — так скучно, длинно и вяло это перефразированное им чужое сочинение! Для неузнаваемости

он перенес действие за границу. Это тоже — один из его способов!

Его цель и вся деятельность направлены были на то, чтоб выгрузить из меня всякую идею прежде всего, потом подойти как можно ближе к характерам, взять удачные сцены, даже выражения и перемешать, перепутать это, как делают в детских игрушечных театрах из картона: кулису направо перенести налево, измену — у меня, например, мужчины перенести на женщину или наоборот и т. д. Если ему самому скажут о сходстве (как и было объяснено при объяснении о “Дворянском гнезде” и “Накануне”), он протестует (“у меня-де лекарь, а у него учитель”, “у меня он ревнует, а не она” и т. д.). А когда выйдет мой роман, он и начнет втихомолку указывать своим приближенным на то или другое сходство и т. д. Да если не укажет, и без того, дескать, читатели хоть смутно да припомнят, что “это уж не новое, было-де у Тургенева!”

Если прочесть так сряду, как будто и нет сходства: оно скрадывается — у него и у обоих — манерою, у меня плодовитостью, у него краткостью и сжатостью, так как ему приходилось выбирать, выжимать сок, обделывать по-своему — и выдавать за свое.

Это мастерство он показал*[66], между прочим, исказив мой первый роман “Обыкновенная история”, уже давно напечатанный в “Современнике” (в 1847). В “Вестнике Европы”, кажется в 1870 или 1871 году, вдруг появилась большая повесть Тургенева “Вешние воды”[48]. Никто не заметил, кроме меня, что это есть ни что иное, как переделка 1-й части “Обыкновенной истории”. Сразу ничего не заметно. Но если прочесть обе повести рядом (чего, конечно, никому не пришло в голову сделать), то сходство будет очевидно.

Чтобы удачнее и неузнаваемее спроворить эту штуку, он перенес действие во Франкфурт — и изломал значительно всю наружную обстановку. Но если взять все по частям, то у него в повести оказывается все то, что есть у меня. Сначала идея первой части “Обыкновенной истории” — целиком вся там: первая любовь, искренние, юношеские (*вешние*) слезы, как у молодого Адуева, измена и охлаждение с одной стороны, страдание — с другой. Характер положительный дяди (у меня) — придан у него солидному и практическому (как дядя Адуев) немцу. Тут и несостоявшаяся *дуэль*, и *другая любовь*, подвернувшаяся вслед за первой, и многие другие подробности, даже не забыты и *ягоды*, которые чистит моя Наденька, и его героиня тоже. А главною сценою, центром романа послужила сцена верховой езды — у меня *Наденьки с графом*, у него — какой-то львицы-кокотки с его героем (имя забыл). Чтобы*[67] отклонить подозрение, он роль моей Наденьки (то есть изменницы) перенес на мужчину, а роль Адуева дал девушке. Вместо моей (правду сказать, бледной Тафаевой) он набросал очень яркий, весьма удачный очерк барыни-кокотки и ее неуклюжего мужа. Потом наводнил и замазал сходство скучными и бледными подробностями.

Конечно, все эти переделки удачно может делать только человек с талантом — и с его ловкостью. Сцена верховой езды у меня в романе помещена так, почти случайно, и сливается с другими сценами). А он упер на нее — и выделал ее со всею своею миниатюрною тщательностью до тошноты, почти до пошлости.

Эту манеру отделки, возможную только в миниатюрах, он ставит выше всего — и написанное мною называет, как я слышал, “сырым материалом”[49]. А он, вот видите, взялся поправлять и отделывать меня*[68]. Но у меня, за обилием и разнообразием картин и сцен, это вышла бы кропотливая, мелочная, филигранова работа, которая сделала бы большие фигуры и здания похожими на пряничные оттиски.

Он сам до такой степени лишен способности вглядываться и вдумываться *в суть* жизни, в ее коренные основы, что сколько-нибудь крупное и сложное явление, широкую рамку жизни — он не умеет и представить себе. У него есть много наблюдательности, тонкого чутья, но мало

фантазии, оттого нет и кисти[*69] или, если есть, то только в несложных картинах, миниатюрных пейзажах, в силуэтах простых, неразвитых людей. Оттого он и берет рамки и программы у другого — и идет по его следам.

Он пробовал портить Шекспира: ну, там, конечно, испортить не мог. Вышли карикатуры, например “Степной король Лир”. Зачем было трогать великие вещи, чтобы с них лепить из навоза уродливые, до гнусности, фигуры? Можно ли так издеваться над трагическою, колоссальною фигурою короля Лира и ставить это великое имя ярлыком над шутовскою фигурою грязного и глупого захолустника, замечательного только тем, что он “чревом сдвигает с места бильярд”, “съедает три горшка каши” и “издает скверный запах”!!! Можно ли дошутиться до того, чтобы перенести великий урок, данный человечеству в Лире, на эту кучу грязи! Но Шекспир остался невредим, как невредима осталась бы его бронзовая статуя, если б мальчишка бросил в нее камешком. Его не обокрадешь[50].

“Гамлет Щигровского уезда” — тоже какая-то мелюзга[51]: зачем подводить под эти фигуры своих, вырезанных из бумаги человечков![*70] Уж портить, так порть нас, мелюзгу, — тут можно схитрить и выдать себя за меня, например, или стараться подняться на цыпочки, забежать вперед, заглянуть через плечо в тетрадь к тому или другому, можно, пожалуй, и ослепить, обмануть, оболгав, наклеветав, приписав себе чужое!

“Вешние воды” — эту параллель “Обыкновенной истории” — Тургенев написал уже тогда, когда нечего было больше брать у меня. Это он, очевидно, сделал для распространения своей заграничной репутации. На случай, если б он, живучи в Париже и состоя в связи с тамошними литераторами и книгопродавцами, как-нибудь не доглядел, и меня бы вдруг перевели на французский язык, — он сейчас и указал бы и на “Вешние воды”: “Вот, мол, это уже у меня написано. Та же программа, те же характеры, лучшие места, все. Автор, мол, подражает мне!” Глубокий и верный расчет! Кто будет заботиться и отыскивать, что моя повесть написана 25 лет раньше его повести, когда я еще не видал Тургенева в глаза? И вообще, кто станет сличать и разбирать сходства, повторения, сцены? Никто, а прочтут и скажут, что на эту тему уже написал что-то Тургенев, “homme de génie russe, chef de la nouvelle école, comme romancier”[*71].

Он свил там прочное гнездо и в Берлине, где когда-то учился, завел литературные связи (с Ауэрбахом и другими) и тихонько ползет, пробирается, шепчет, учит, руководит, как смотреть на русских литераторов, переводить себя, через агентов-друзей, на все языки и зорко смотреть, чтобы не переводили того, что может бросить тень на него, помешать ему. Но чтобы удалить от себя подозрение *в зависти*, он участвует в переводе прошлых авторитетов — Пушкина, Гоголя, Лермонтова, или кто ему — не пара, из новых.

Когда вышел “Обломов”, ко мне адресовались со всех сторон здесь, а из-за границы прислали письмо двое какие-то с просьбой позволить перевести avec l’autorisation de l’auteur[*72]. Я отнес, в наивности своей, письмо к Тургеневу и просил написать, что пусть, мол, переводят и делают что хотят![52] Он схватил жадно письмо: “Хорошо, хорошо, я напишу!” — сказал он — и долго спустя, не показав мне ответа, сказал вскользь, что он сделал какому-то книгопродавцу запрос и употребил, говорит, следующую фразу: “Je ne doute pas de leur parfaite honorabilité[*73] и т. д. А что далее, я и до сих пор не знаю. Вероятно отказал моим именем — и тем дело и кончилось. Иначе бы незачем было и употреблять эту фразу. Но я к этим переводам всегда был равнодушен, и когда у меня просили позволения, я говорил, что “лучше бы не переводить, а, впрочем, делайте, как хотите: я процесса заводить не стану!” Перевод меня на французский язык между тем, особенно заблаговременно, зарезал бы Тургенева и обличил бы его бледные подделки, а еще более помешал бы ему *передать то, что он не взял из Обрыва” сам, иностранным литераторам*, между прочим *Флоберу*, потом *Ауэрбаху*.[*74]

“Это неправдоподобно, похоже на сказку!” — скажут, может быть, в ответ на это. Да, неправдоподобно, но справедливо. Мало ли невероятного случается на свете, мало ли лжи принимается за истину, кажущегося за действительное и т. д.?

Вот анализ этого дела, как я дошел до него медленным и мучительным путем.

Основание всей натуры Тургенева — *ложь* и *тщеславие*. Того, что называется *сердцем*, у него нет, следственно, нет ни в чем никакой искренности. Он очень умен,[*75] но ум этот не есть та[*76] великая человеческая сила, которая измеряет, судит, взвешивает события и явления в их общем объеме — и[*77] потому решает здраво и прямо, как сила дальней и высшей зоркости, постижения и безошибочного суда. Та сила не лжет, она ошибается в деталях и мелочах, но не выпускает из вида общего хода и цели явления — ей и не надо лгать. Скажу даже, что *ум* тогда только — истинный и высокий ум, когда он и *ум* и *сердце* вместе! Тот ум, как у него, напротив, тонкий, гибкий, изворотливый — ищет обходов, кривых путей, не веря общим законам хода дел, или пренебрегая ими, и веря более своей ловкости, часто до слепоты, с вечной надеждой увернуться, спрятаться, когда настанет препятствие, и достигнуть своей ближайшей цели. Религия Тургенева именно и состояла в этой *вере в свою силу тонкого и хитрого расчета*. Орудием ему служила постоянная и неизменная *ложь*, которою он владел мастерски. Она у него всегда была за поясом, как кинжал у горного наездника. Он лгал отчаянно, безумно, иногда пылко, до какого-то слепого увлечения. Способность сочинять, не только в книгах, но и на словах, была изумительная, а увертливость и беззастенчивое отпирательство еще изумительнее. Когда ему, например, скажут: “Вы, И<ван> С<ергеевич>, говорили или сделали то или другое” (а ему надо это опровергнуть), он сделает изумленные глаза и отопрется, а если станут настаивать, скажет: “Никогда не говорил, ей-богу, честное слово, никогда!” И руку прижмет к груди, наконец захохочет, как будто поражаясь такою выдумкою на него. Слушатели, конечно, в недоумении, особенно из его дружины, поклонники, разные прихвостни, потом кончат тем, что поверят ему. “Как можно, чтобы Тургенев...” — заключат они — и злобно накинутся на противника. Если же он пронюхает, с его собачьею чуткостью, что дело может кончиться не в его пользу и обличить его, он забежит вперед, обойдет кругом — и сам пойдет навстречу, с заранее обдуманным, *натуральным* объяснением — и опять обманет!

Актерство и хитрость развились у него до степени натуры и отлично маскировались в тонко выработанную манеру простоты, какой-то задумчивости и рассеянности, так что ни к кому более не пристало название *плута с меланхолией*, как к нему. Но эта меланхолия была дремота лисы. Он казался ничем особенно не интересующимся, даже и литературой занимался как будто мимоходом, небрежно, молчал, но все высматривал, выслушивал и ничего не пропускал мимо ушей. Этому мороченью других много способствовала и его рослая фигура, красивая голова с красивыми сединами и старческой, внушающей почтение бородой. Затем задумчивый взгляд, ласкающие манеры. Яд лжи и тонкой злости он испускал шепотом, на ухо тому или другому приятелю, с усмешкой, с добродушным видом, зная, что она разойдется и найдет врага, а сам прятался. Словом, как кошка: нагадит и скроется. Запах слышен, а кошки нет!

Он принадлежит к породе *тихоней* — и ни к кому нельзя более кстати применить известный стих, как к нему: “Тот ласков, а кусает!”, в противоположность стиху “Иной, как зверь, а добр”[53].

На эти указания заимствований у меня — могут мне сделать серьезное и основательное возражение. Положим,[*78] скажут, например, что он мог заимствовать события романа, характеры, даже отдельные характеристичные сцены и картины, если все это было ему рассказано по программе подробно, последовательно. Но как он мог заимствовать редакцию

того или другого места, хоть бы, например, тот самый мотив *миража* из “Обрыва” (на стран<ице> 509 1-го тома)[54], о котором я упомянул, и развить эту сжатую у меня в нескольких строках идею в дым и написать на эту мысль целую повесть? Ведь роман у меня был не написан, или писался медленно, на водах, за границей, тянувшись с 1849-го года до конца 60-х годов, около 20 лет? Ужели же я ему, в 1855 году, рассказывая весь роман, рассказал и о *миражах* так, как о них у меня сказано? Не естественнее ли было, напротив, мне взять эту мысль из его повести, которая вышла прежде “Обрыва”, и включить туда, да на него и свалить?

Да, оно похоже на то. Тургенев так и вывороти дело наизнанку — и, забежав вперед, благодаря забытой истории между нами о плагиате и объяснении, распустил очень искусно слух здесь, но особенно за границей, что он глава и что у него есть подражатель, но “*с большим талантом и с кистью*” (см. “Histoire de la littérature russe”, par Courrière)[55]. Конечно, при этом (как я убедился потом) и свое основное, господствующее побуждение, *зависть*, свалил с своей головы на мою. Это очень ловко, хотя и гнусно. Но он буквально усвоил себе девиз из “Горя от ума”, что *умный человек не может быть не плутом*[56].

Чем я могу доказать противное? Его искусным, дипломатическим письмом? Оно написано вкратце, с пропуском того, что он уже взял и что далее хотел взять. Есть еще у меня две записки, где он говорит, что *никогда не забудет подробностей и сцен, рассказанных ему и Дудышкину из “Обломова” и “Художника”*[57]. Но на предъявление этих записок он может сказать, что хочет выбрать, например, одну какую-нибудь общую идею, два-три характера, две-три сцены, два-три мотива и прибавить, что больше ничего не помнит. Дудышкин, Дружинин и Боткин, которым я говорил, умерли. Словом, рассчитано тонко и верно, хотя, повторяю, гнусно и мелко! Да никто и не станет судить нас явно, а ползком сделано уже все — он воспользовался моим добром сам и щедро наделил других, как я скажу после.

А теперь отвечу на возражение, которое предвижу: “*Как мог, например, он в “Дыме” воспользоваться страницею из ненаписанного романа и сделать из нее повесть? Для этого нужно, чтобы эта страница была у него перед глазами*, а я говорю, что я писал роман, ни слова уже ему не говоря?” На это скажу следующее.

В 1860-х годах — до 1865 года уже у меня были готовы три первые части романа вполне — и я читал их всем, кто хотел слушать.[*79].

“Надо, чтобы Тургенев имел мою рукопись перед глазами для того, чтоб подходить так близко в своих подделках?”

Он и имел ее в руках. Как так? где?

Это очень грустно и печально для меня — то, что я могу сказать теперь только отчасти, ибо сам не вполне знаю все мотивы и подробности[*80] жалкой, иезуитской интриги, разыгранной со мной и надо мной. Мне грустно и больно не за одного себя, а за тех, кто вторгнулся в эти отношения между Тургеневым и мною. Их роль очень некрасива во всей этой истории!

Один Тургенев не мог бы сделать всего, что он сделал, хотя он был началом, и целью, и средством этой интриги. Но я прежде доскажу до конца все, что сделал Тургенев, а потом уж упомяну и о сильной помощи, которую он встретил в неожиданных союзниках. Тургенев получал мои рукописи, то есть копии с них. Я, живучи на водах, оставлял небрежно свои тетради на столе или в незапертом комоде и уходил надолго, оставляя ключ.

Знакомые, даже quasi-дружеские уши слушали мои чтения прилежно и *записывали* (я сам видел и поздно догадался) прослушанное. А однажды целая компания каких-то неизвестных мне личностей в Мариенбаде поселилась в одном со мной коридоре — я тогда не знал, зачем, но не мог не заметить с удивлением, по некоторым мимолетным признакам, что я был предметом их наблюдения. Я чуял и замечал, что за мной следили (следовательно, как я потом увидел, они

могли хозяйничать смело в моей комнате, когда я уходил), видел, как устраивались мне нарочно те или другие встречи с разными лицами, как меня вызывали на разговоры, выпытывая мой образ мыслей о том или о другом, между прочим беспрестанно наводили на разговор о Тургеневе и зорко смотрели, как я завидую и т. д.

Мое положение по поводу этой мнимой, надетой на меня происками Тургенева, как шапка, *зависти*[*81] было очень затруднительно. Я давно перестал читать русские романы и повести: выучив наизусть Пушкина, Лермонтова, Гоголя, конечно, я не мог удовлетворяться вполне даже Тургеневым, Достоевским, потом Писемским, талантами которых были ниже первых трех образцов. Только юмор и объективность Островского, приближавшие его к Гоголю, удовлетворяли меня до значительной степени. Из Достоевского я прочел “Бедных людей”, где было десяток живых страниц, и потом, когда он написал какого-то *Голяткина* да *Прохарчина*[58] — я перестал читать его и только прочел превосходное и лучшее его сочинение — “Мертвый дом”, а затем доселе ничего не читал, ни “Преступлений и наказаний” которые, говорят, очень хороши, и ничего дальше[59]. Писемского знаю хорошо “Плотничью артель” и вообще, что он читал сам вслух (а он читал живо, точно играл), а больше ничего[60]. Словом, приелось ли мне, или у самого у меня было богатое содержание, только я не читал по-русски. Если спросят, читал ли я новую вещь какого-нибудь из них — скажешь *нет*: говорят, что я *из зависти* не читаю. Если прочтешь и строго осудишь — опять *из зависти*. И при этом глядят прямо в глаза, сами делая глупые лица! Словом, я замечал что-то странное, какое-то наблюдение за каждым моим шагом и словом. Многое я видел тогда, *но обо всем, конечно, догадался уже после*, когда разыгралась надо мною целая огромная трагикомедия неприятностей, грубых и тонких шуток, всевозможного зла, заставившего меня бросить службу, литературу, бежать общества и запереться от всего в своей комнате. Мой свежий и здоровый организм был сильно потрясен, я потерял сон, нажил нервные припадки, во мне[*82] развилась хандра и я почти терял голову.

Может быть, скажут, что я, говоря это все, брежу, так сказать, в нервном раздражении и сочинил глупую историю.

Ах, если б это так было! Как бы смиренно повинился я в своих заблуждениях, приписав их мнительности! Сам торжественно назвал бы себя сумасшедшим! Но не могу, ради истины не могу!

Обращаюсь к Тургеневу. В повести “Дым” он взял мотив о *мираже*, говорю,[*83] и опять вставил его в ту же рамку — он все-таки снял опять с “Обрыва” и именно со 2-й и 3-й части, легкий, можно сказать, прозрачный, очень отдаленный слепок с романа[*84], от которого он с тех пор, как слышал его от меня, не отходит ни на шаг.

Он приписал этому роману (“Обрыв”) огромное значение еще в его зародыше, значение, какого я тогда и сам не подозревал. Теперь, уже видя, что он сам начерпал оттуда и что дал Ауэрбаху и Флоберу — и как все они трое выросли, написав свои параллельные романы по “Обрыву”[61], теперь только, говорю, я вижу, какое действие мог и должен бы был произвести этот роман, если б они все не забежали с своими слепками вперед!

Он нахватал в “Дыме” идейки и сценки то из 2-й, то из 3-й части (которые тогда у меня были уже написаны) — и поэтому очень далеко сочинял, конечно, своих героев и героинь. У меня, например (во II главе 3-й части), рассуждают, вкривь и вкось, ничего не понимая, в гостиной Бабушки о политике и, между прочим, генерал Тычков первенствует. Тургенев в “Дыме” вывел тоже молодых современных *генералов*, и глупых и фатов, тоже, не понимая ничего, толкующих *о политике*. В X-й главе у меня смешная Полина Карповна, старая кокетка, — и у него тот же genre[*85] — дама в желтой шляпке на желтых волосах, жеманная и смешная.

Толстый генерал его говорит, как и мой генерал Тычков, в том же духе, но в другом тоне. Тут и о крепостном праве коснулись, как там. Тут и Ирина, как Вера в гостиной же, пренебрегающая всеми и думающая о Литвинове — как та о Волохове. Тут и тычковский образ мыслей о молодых людях, и даже имя Борис (*заигрывающий* с смешной дамой и смеющийся над ней) удержано. (Этот прием повторяет нередко Тургенев, чтобы доказать, что он и не думал заимствовать, иначе “переменил бы имя, конечно!”). Борисом зовут Райского. А своим почитателям и покорным слугам он тихонько укажет на эти сходства, *с именем* включительно, и скажет, что все это из него вошло в мой роман, а не *вышло* из него.

И Литвинов, как Райский (на стран<ице> 81, изд. 1868 “Дым”), негодует на генералов, как тот на Тычкова, *его честная, плебейская гордость возмущалась* (“Дым”, стран<ица> 81) их толками, взглядами и проч.

По моей рукописи или по переданному ему моим слушателем тщательному описанию прочитанного мною Тургенев, как по узору, вышивает[*86] свой узор, с другими красками, и иногда цветами,[*87] меняя расположение самых цветов, иногда листьев, вставляя кое-какие свои — и потом осмысливая моею же идеею. Довольно ему не только моей страницы, но и одного из “Обрыва” выражения, например: “Дела у нас, русских, нет” (стран<ица> 509, том I-й), чтобы подхватить эту мысль и сделать ее мотивом повести, разбив последнюю по плану тех или других моих глав, с значительными изменениями обстановки. Он так разбросает и рассует выбранные им сцены, разговоры, выражения, что сначала и я сам не узнаю в розницу того или другого взятого у меня[*88] места — и только по прочтении всего, сообразив вместе все целое и подробности, я вижу остов моего плана и мелькающие там и сям, в другом порядке и месте, подобные моим фигуры, или те же самые[*89]картинки и выражения, как у меня, пополам с его собственными, вставными изобретениями!

Та же какая-нибудь Вера или Марфинька, тот же Райский или Волохов послужат ему раз десять, благодаря его таланту и изворотливости. Недаром Белинский сказал однажды при нем про меня: “Другому его романа (“Обыкновенная история”) стало бы на десять повестей, а он все в одну рамку уместил!” И Тургенев буквально исполнил это, наделав из “Обрыва” “Дворянское гнездо”, “Отцы и дети”, “Накануне” и “Дым”[*90] — возвращаясь не только к содержанию, к повторению характеров, но даже к плану его! А из “Обыкновенной истории” сделал “Вешние воды”!

Вот, за исключением “Записок охотника” да нескольких собственных повестей вроде “Аси”, “Первой любви”, “Фауста” — источник деятельности Тургенева, играющего роль *главы новой школы* во французской литературе, куда он пересадил из русской литературы все — то сам, то подшептав другим содержание и самую форму русских сочинений.

В “Дворянском гнезде” он ближе всех других своих повестей подошел к “Обрыву”, так что при чтении некоторые, как я слышал, замечали, что «отсюда (то есть из “Обрыва”) как будто что-то взято в “Дворянское гнездо”».

Прочие заимствования его так далеки, что <лишь> он да я видим ясно сходство в них с “Обрывом”. Это скорее *параллели* (как я назвал их), где Тургенев, как тенденциозный по уму, “новый” человек дорожил больше всего идеями, а не образами, выражавшими их, играя из себя, на чужой счет, мыслителя, превозмогающего художника. Да у него — ни того, ни другого у самого и не производит голова, а он приводит только мое добро (*сырой материал*, по его словам) к известному знаменателю, высказывает явно и сознательно мой мотив, запрятанный в образы, то в самом тексте, то в заглавии (“Отцы и дети”, “Дым” и т. д.), то есть делает то, что делают фельетонисты, озаглавливая эффектно бледные, журнальные известия — “О ссоре”, “О мертвом теле”, “О скандале в публичном месте” и т. п. Да потом разводит это, как в “Дыме”, в

измышлениях и развитиях моей идеи или моего образа. Так, например, в разговорах Потугина и Литвинова в “Дыме” — он перевел на резонерство фигуры Волохова и Райского. А если к этому прибавить какое-нибудь лицо или сцену вроде “Записок охотника”, тогда и выходит хорошо!

Все это, конечно, я *усмотрел, понял и разобрал* до мелочей — *после*, а не тогда, когда это происходило, и то добрался я до этой всей *сути*, благодаря той интриге, которой я был целью и жертвой и о которой я намекнул выше. Она заставила меня всмотреться ближе и в Тургенева и в его проделки. Самого Тургенева я знал и прежде,[*91] но думал, что он удовольствуется “Дворянским гнездом” и “Накануне” — и остановится. Так бы он и сделал — один, без помощников.

Пойду дальше. То, что написано, составляет только первую часть. Главное — еще впереди. С 1867 на 1868 год здесь провели зиму граф Алексей Константинович Толстой (автор драм, “Грозного” и других) с женою. Его все любили за ум, за талант, но всего более за его добрый, открытый, честный и всегда веселый характер. Все льнули к ним, как мухи; в доме у них постоянно была толпа — и так как граф был ровен и одинаково любезен и радушен со всеми, то у него собирались люди всех состояний, званий, умов, талантов,[*92] между прочим, beau monde[*93], где у него были и родство и дружба. Графиня, тонкая и умная, развитая женщина, образованная, все читающая на четырех языках, понимающая и любящая искусства, литературу — словом, одна из немногих по образованию женщин. Она была некоторым образом судьею, критиком сочинений своего мужа, и он не скрывал, что дорожил ее оценкой. Мы сблизились с ним еще прежде, в Карлсбаде, а тут виделись каждый день[62]. Они звали меня беспрестанно — и я бывал почти ежедневно у них. Я уже уставал от всего, и между прочим от литературы, лениво заглядывал в свои тетради — и, закончив давно третью часть “Обрыва”, хотел оставить вовсе роман, не дописывая.

Однажды я встретил там Стасюлевича, который тогда старался оживить свой ученый журнал беллетристикой и сойтись с Толстым, который готовил, после “Смерти Иоанна”, драму “Федора Иоанновича”[63]. Я сказал Толстому, что у меня есть 3 части романа “Художник Райский”, что, кажется, я его не кончу, надоело, а вот посмотреть бы, не годится ли он так, как есть, в 3-х частях?

Все трое ухватились за эту мысль — и просили меня прочесть им написанное. Целую неделю все трое, граф, графиня и Стасюлевич, в 2 часа являлись ко мне и уходили в 5[64]. Как они изумились этим 3-м частям! Как вдруг я вырос в их глазах! Хотя они сдержанно выражали одобрение, но я видел какую-то перемену в отношении ко мне, на меня глядели с каким-то удивлением, иногда шептали что-то, глядя на меня, и я видел, что я произвел хорошее впечатление. А Стасюлевич просто не отходил почти от меня, являлся каждый день — и я обещал поместить роман у него[65]. Все это ободрило меня и я решил кончить его летом, на водах. Тут я опять заметил и в поведении графа что-то странное в отношении ко мне. Он, по выслушании романа, зачем-то нашел нужным поскорее повидаться с Ауэрбахом в Берлине, торопил меня поскорее уехать из Петербурга за границу, чтобы мне, как я видел, не встретиться с Тургеневым, которого ожидали в Петербург. “Отчего это?” — думал я тогда — и не догадывался, был точно в лесу.

То, что я смутно подозревал прежде, начало превращаться у меня в соображения, которые с тех пор уже с каждым днем все делались определительнее. Но далеко я не подозревал еще всей сложной путаницы этой интриги — шутки. Я только уразумел, что Тургенев что-нибудь налгал на меня — и именно остановился на мысли, что, вероятно, он сказал там и сям, что *не я ему, а он рассказывал мне* свои повести и что *я завидую ему*, а не он мне и что я из этой зависти стараюсь распускать о нем слухи, что он воспользовался моим добром и ругаю его, а “он-де

никогда обо мне ничего не говорит!” Такие его отзывы мельком, неясно долетали до меня. Я догадался об этой проделке Тургенева по многим вопросам, обращенным (и обращаемым до сих пор) ко мне с разных сторон о Тургеневе: “Что я о нем думаю как о человеке, потом как о писателе” и т. д.? Граф тоже делал мне эти вопросы и зорко смотрел на меня. Я догадался, что это значит. Тургенев предвидел по первым нашим двум размолвкам, что я не отрекусь от своей собственности и мнения своего о нем не переменю, следовательно, если бы и забыл прошлое (я и забывал), то при новых, задуманных им заимствованиях у меня, конечно, проговорюсь кому-нибудь. А он, добывая из моего романа свои *параллели*, конечно, уже никогда ничего не скажет обо мне, ни хорошего, ни дурного. Когда же обобравший кого-нибудь станет поминать об обобранном? А обобранный конечно будет кричать. Это верно! Следовательно, и выйдет само собою так, что *я его порицаю из зависти, так как его повести вышли прежде моего романа, поэтому я ему подражаю и подрываюсь под его репутацию — как писателя и как человека*! Расчет верный! Он это подшептал своим наперсникам, кумовьям и слугам, а те разнесли как свои собственные измышления и наблюдения. И как не поверить ему: “Такой талант и такой мягкий, изящный, простой человек! Во всем такая ласка, доброта, словом, бархат!” “И притом передовой человек, с очаровательным пером, всеми любимый, безупречный!”

Да, иногда красива и эффектна бывает ложь! И часто долго служит она тому, кто искусно владеет ею! Но, говорят, будто она никогда не служит до конца, а всегда сбросит в грязь! Правда ли это? Ведь если это неправда, жить нельзя!

Я, однако, не кричал, что меня обирают: старую историю я забыл, особенно после того, как мы сошлись опять над гробом Дружинина, — и если приходилось иногда шевелить ее, так это *единственно потому, что я все возился с тем же романом, который подал повод к этой истории*. Поневоле иногда приходилось трогать старое, чтобы сообразить, как избежать сходства. Но это говорилось тихо, с одним, с двумя лицами, а Тургенев, как я видел по множеству адресуемых ко мне разными лицами вопросов о нем, пропустил такую молву, что я его беспрестанно порицаю и клевещу на него. Ко мне подсылались даже чужие мне лица с вопросами о нем, но я, конечно, молчал и про старое и про новые[*94] его параллельные с “Обрывом” повести “Отцы и дети” и “Дым” вовсе ничего не говорил, так как первую прочел бегло, а последнюю вовсе не читал до декабря прошлого, 1875-го года. Тургенев мне прислал ее, и я два раза начинал и, два раза на первой или второй главе бросал. Так мне казалось это бледно, скучно, не художественно, фельетонно! Все эти разговоры генералов, нигилистов можно бы было назвать “разговорами в царстве мертвых”, какими, бывало, угощали публику лет 50 тому назад. Так это вяло![*95] Ему, такому мастеру изображать художественно сельскую природу и жизнь, не дались изображения сложной жизни, развитых людей, психологических движений![*96] Попытки его в этом роде оказались деланными, сочиненными!

В Баден-Бадене я так же отозвался и самому Тургеневу: «Начал было читать, — отвечал я ему на его вопрос о “Дыме”, — но скучно показалось. Эти *генералы* — точно не живые, а деланные, как фигуры воскового кабинета». Таков был смысл, а не буква моего ответа[66]. Он, зная, что мало читаю вообще русских беллетристов, в том числе и его, нарочно посылал мне “Дым”, чтобы я прочел[67] — и чтобы, видя там повторение своего, не писал о том же у себя. Просто ему хотелось, чтобы я бросил свой роман: тогда бы он уже восторжествовал бесспорно. Я и бросил бы, если б заблаговременно догадался обо всем, что мне готовится. Но я не читал, и потому не догадывался.

Наконец в 1868 году, в Киссингене, в Швальбахе, потом в Париже и в Булони[*97], в течение лета я написал и две последние части, 4-ую и 5-ую, “Обрыва” и, воротясь в Петербург, ретушировал весь роман и дописал недописанный эпилог, то есть последние главы. Опасаясь,

что сходство с “Дворянским гнездом”, которого, то есть сходства, я, как ни старался, а вполне избежать не мог, иначе пришлось бы жертвовать многим, а я, так сказать, сросся с романом, я — рассказал свою историю с Тургеневым Стасюлевичу, чтобы узнать его мнение насчет этого сходства. Он, конечно, меня уверял, что сходства нет, что тургеневские повести давно прочитаны и частию забыты и т. п. Однако, когда я прочитывал некоторые главы “Обрыва” ему и жене его, последняя заметила также, что «*отсюда как будто кое-что взято в “Дворянское гнездо*”» (*ее подлинные слова*)[68]. Нужды нет, что “Дворянское гнездо” вышло прежде “Обрыва” — никому не приходило в голову, что из “Дворянского гнезда” взято в “Обрыв”. Предвидя эти толки, Тургенев и придумал всю эту махинацию, чтобы отклонить от себя подозрение и потом чтобы стать на мою дорогу. Меня это очень беспокоило — и я стал колебаться, печатать ли мне роман, и даже однажды, накануне объявления (кажется, в октябре) в “Вестнике Европы” о появлении моего романа в будущем, 1869 году сказал Стасюлевичу, что не желаю печатать [69]. Но меня уговорили.

Тургенев, как я узнал после, беспокоился еще больше меня могущих возникнуть толков по сличению его повестей с моим романом, нужды нет, что он и союзники его приняли все меры (и какие меры!), чтобы все удары упали на мою голову! Он, говорят, по мере того, как я писал последние две части, похудел, пожелтел, а я тогда уже запирал тетради, когда уходил со двора, в Киссингене и в Швальбахе, в чемодан, а не оставлял в столе, так что этих двух частей ему сообщено быть не могло[70]. Но все, однако, я продолжал рассказывать и читать [*98] Стасюлевичу с женой, измену которого (тогда) я допустить конечно не мог, так как это противно бы было его интересам, хотя он и был в сношениях с Тургеневым и печатал его мелкие повести, вроде “Записок охотника” (кажется, “Бригадир” и другие т. п.)[71].

Три первые части за год перед тем, летом же, были опять целиком прочитаны мною гр. А<пракси>ну[*99], с которым лета три сряду я встречался на водах и который усердно показывался моим приятелем. Вот он-то, после каждого чтения, и бросался записывать прочитанное — и кроме того, как я сейчас сказал, все три части прочел Ф<еоктисто>ву и его жене в Булони[72]. Я с ними, до Булони, встретился еще в Баден-Бадене, и там эта госпожа, прося меня прочесть ей роман, спросила, не позволю ли я присутствовать при этом одной знакомой Тургенева? Я отказал, сказав, что лучше прочту им одним в Булони. Так и сделал. Г<раф> А<праксин>, мой названный приятель, опять присутствовал и опять записывал. Я мало смущался этим[*100], не предполагая, конечно, что у человека из-за пазухи, так сказать, будут вынимать его собственность и передавать другому. Между тем это так и произошло, то есть слушали, записывали и посылали Тургеневу, а тот из этого материала делал свое. Я увидел после, что и Г<раф> А<праксин> и Ф<еоктистов> с женой были, особенно последние, подставными лицами, на нескромность которых можно было бы после свалить все и ею объяснить появление моего романа в сочинениях Тургенева и других. А дело было сделано проще, как я намекнул выше: в Мариенбаде у меня просто копировали прямо с моих тетрадей жившие со мной в одном коридоре подосланные лица[73], как я убедился после.[*101]

Здесь кое-что мне неясно — и я, соображая последствия всего, что произошло, должен вступить в область догадок. Как люди, имеющие имя, положение и репутацию честных и образованных, могли позволить себе такое наглое воровство? Что это мог сделать завистливый соперник — это понятно. Что, далее, боясь, что окончание моего романа, которое ему неизвестно, будет достойно начала и покажет, что и то и другое принадлежит одному и тому же уму, одной и той же фантазии и тому же перу и таким образом обличит вырванные и разнесенные на клочья, на бледные оттиски разные части большого здания, — боясь, говорю, всего этого, завистник мог подвести разные мины, подшептать, как свое собственное добро, мои

замыслы разным заграничным писакам и забежать с ними вперед — все это возможно: так оно и произошло!

Но как целое общество людей порядочных могло сочувствовать и содействовать ему таким способом[*102]— это выходит, так сказать, из пределов вероятия?[*103] А между тем оно было так! Я должен допустить предположение, что Тургенев оболгал и оклеветал меня, сказав, как я думал и думаю еще и теперь, что не он у меня, а я заимствовал у него — может быть, даже сказал, что он и рассказал мне, а не я ему литературные замыслы вперед. Кто его знает! Но этому, однако, есть противоречия. Так он, вероятно, сказал, то есть выдал мое за свое иностранным литераторам, Флоберу и Ауэрбаху (и очень давно, вскоре после того, как я рассказал ему роман в 1855 году); но мне потом известно стало, что здесь, между русскими, он употребил другой фокус, еще ловчее, и поймал на эту удочку много *наивных людей*. Именно: кое-кто проговорился мне, и между прочим, Стасюлевич, что меня слушают все, следят за моими разговорами, подслушивают каждое мое слово, каждую мысль, особенно мои литературные замыслы, мои критические отзывы — словом, все, “*потому что-де я так и рассыпаю перлы мыслей, образов, художественных картин, сравнений, метафор, что надо только подбирать и пользоваться, а у меня-де у самого все пропадает даром, так как я лентяй, лежебока — и как собака лежу на сене, сам не ем и другим не даю*!” Последнее сравнение именно и заключило разговор Стасюлевича. Потом я уже стал замечать, что и Стасюлевич делает то же самое! Так вот что. Он говорил, что у меня в тетрадях заключены сокровища и что ими надо пользоваться, а то-де они никогда не выйдут, по моей лености, наружу! Должно быть, так он поймал всех на удочку! Это очень ловко пущено! Тургенев, придумав этот фокус, расчел верно. У него руки развязаны (без обвинения его в *плагиате*) знать и брать вперед все, что я скажу, все, что я придумаю и задумаю, и делать из этого повестцы, рассказы, быть всегда впереди, притворяться великим писателем, альфой и омегой русской литературы — и мешать мне идти самому вперед, особенно мешать мне каким-нибудь новым и неожиданным трудом, обличить его в рыбной ловле в моих водах! Он из моих озер[*104] наделал лужиц и искусственных садков — и у него впереди всегда было пугало: обличение его в воровстве и занятие мною моего места, на которое он прыгнул по-кошачьи. *Было из чего ему стараться, ползти, шептать, лгать*!

Я до сих пор еще не знаю, что он должен был наговорить обо мне Ауэрбаху, Флоберу — и, может быть, другим, что они решились (как сказано будет дальше), с его ли слов, или с копий моих тетрадей написать параллельные романы (“Дача на Рейне”, “M-me Bovary” и “Education sentimentale”[*105]). Выдал ли он это за свое перед ними, а меня обвинил в *плагиате*, или же предложил это, как *сырой материал* (но чей, свой или мой — я не знаю), с которым я не справлюсь?

Я до сих пор не знаю, из каких побуждений они решились писать по чужому? Может быть — он сказал им, что он бежал отсюда с *своим* материалом, чтоб там им не воспользовались! Это прежде всего обличает в них слабость их собственной творческой силы, как и в самом Тургеневе! Я бы послал к чорту (и посылал), когда мне предлагали написать то или другое, на сказанную тему. Я не хочу этим сказать, что я *очень сильный* писатель, а только *самобытный*: что не во мне самом родилось и выросло, чем я не пропитался до мозга костей, что меня не поглощает и не занимает всего — я не могу и трогать этого[*106]. Вероятно Тургенев сказал, что я или он — не справимся с материалом, а может быть, *на меня свалил свою зависть*, и, чувствуя бессилие подкопаться один, призвал силы с запада, немцев и французов. Но на этот двойной фокус — говорить здесь одно, а за границей другое — решаться опасно: могут эти толки случайно сойтись, и противоречие оказалось бы. Стало быть, заключал я тогда, если не Ф<еоктистов> с женой, подставные лица, то другие очень сознательно брали у меня и

передавали кому-нибудь [*107], то есть знали очень хорошо, что они берут мое собственное, да еще русское, и отдают в иностранную литературу. Кто же? за что? что и кому я сделал, сидя у себя смирно в углу? That is the question[*108] — и на этот вопрос я в этих моих записках один ответить удовлетворительно не могу, если другие, то есть сами виновники настоящие не помогут объяснить дело, как оно было? Но захотят ли и могут ли они быть искренни и сознаться в неблаговидном способе добывания моего добра. Да может быть еще, если Тургенев оболгал меня, свалив свои проделки на меня, они, пожалуй, считают себя правыми!

Как все наши *наивные люди* усердно помогали ему! Записывали и передавали все, что скажу, пересылали мои письма, даже не одному ему, но и другим, *чтоб не пропадало даром сено у собаки*! Ловкая штука!

Таможня — ничего не пропускала, и если бы я писал новый большой роман, у меня из него таскали бы по частям, и тогда Тургенев написал бы опять ряд *осмысленных повестей*, вроде “Отцов и детей”, “Дыма”. А пока он через своих здешних и иностранных Бобчинских и Добчинских (вроде историка русской литературы Courrière) [*109] объявил себя *главою новой школы реальной повести*[74], зная, что принятые меры помешают мне написать что-нибудь и обличить его.

Действительно, глава новой, небывалой *реальной* школы! Брать чужое, до выхода в свет, кое-где сокращать, кое-где дополнять, выжимать квинтэссенцию, ломать всю обстановку, рядить в другие кафтаны, разбивать на части, рассовывать по разным местам и потом выдавать за свое — что может быть *реальнее* такой школы! Но эта школа вовсе не новая! Когда украдут, например, богатый соболий салоп, то никогда не продают его в том виде, в каком он был. А распорют его весь и части меха употребят на воротники, шапки, муфты и т. д.

Как бы там ни было, а Тургенев налгал на меня и ему поверили. Однако, когда граф А. К. Толстой выслушал первые три части “Обрыва”, у него явилось сильное волнение, беспокойство, особое участие ко мне. Он — как я сообразил потом — как будто вышел из заблуждения, прозрел отчасти правду и заподозрил в Тургеневе ложь. Он, между прочим, сильно настаивал, чтобы я уезжал скорее за границу, “не встречаясь с Тургеневым, который ехал сюда!” Это меня навело на догадку, что Тургенев, вероятно, налгал в таком смысле, что он мне подсказывает или помогает писать, что-нибудь в этом роде. Но что именно, *я не знаю, мне не говорят*, но ходят около меня, слушают, переглядываются, иногда шепчут — а мне ни слова! Таким образом я лишен всякой возможности опровергнуть!

В подтверждение моей догадки о лжи Тургенева я получил от последнего, весной же 1868-го года, письмо с приглашением в Баден-Баден *поселиться у него и оканчивать роман*[75]! Я догадывался смутно, что он что-то лжет,[*110] должно быть, выдает себя за мою какую-то литературную няньку!

Я ездил прежде раза два в Баден-Баден из Мариенбада, потому что там весело было отдохнуть от лечения в хорошем месте, в веселой толпе[76]. Там бывали Боткин, Ковалевский, Достоевский и другие — и, наконец, Тургенев, но он был так поглощен своим кружком у Виардо, что его не часто приходилось видеть — и я ему, повторяю, *не только ничего не читал, но и не заговаривал с ним о литературе*, кроме одного раза, когда он прочитал мне и Ф<еоктисто>ву с женой “Бригадира” и тут что-то поговорили и разошлись[77]. Может быть — и вероятно — он воспользовался и этим обстоятельством, чтобы что-нибудь солгать относительно какой-нибудь помощи или совета с его стороны. После, я помню, когда роман уже печатался или вышел, Анненков в Петербурге как-то заметил мне, что Тургенев ужасно хвалит роман, говоря: “Чего-чего там нет!”[78] “А почем Тургенев знает все подробно, что там есть?” — спросил я. Анненков как будто поразился этим и вдруг замолчал. Я видел это и догадался, что, вероятно,

Тургенев сказал и ему, что я читал, что ли, или рассказывал опять ему в Баден-Бадене “Обрыв”, чего ни разу, повторяю, не было. Я уже понимал Тургенева и прекратил всякую с ним переписку. На этот раз, кажется, и Анненков отчасти прозрел и догадался, что такое Тургенев. По крайней мере после, когда он наводил на это разговор, он уже не противоречил, слыша *[111], как я называл поступки Тургенева настоящим именем. Значит, у Тургенева были в руках — или копии с того, что я писал, или подробные отчеты с прочитанного мною другим!

Однажды один общий знакомый встретил меня с Тургеневым в Бадене на прогулке, на горе и не подошел. Когда я после спросил, отчего он не пошел с нами, он сказал мне: “Как я пойду, вы вероятно имели литературный разговор”. Конечно, Тургенев распустил *[112] слух, что он или советует или помогает мне — что-нибудь в этом роде. *А он никогда мне ни одного совета не дал и ничего не подсказал, кроме двух слов*[*113](“голубая ночь”), когда я читал ему последние главы “Обломова” и дошел до того места, где Штольц в Швейцарии, после объяснения с Ольгой, назвал ее своей невестой и ушел[*114], Тургенев был тронут ее “сном наяву” и ее мысленным монологом: “Я — его невеста!” и т. д. Тургенев нашел, что у меня вставлено было несколько лишних подробностей, тогда как ей (выразился он) *снится какая-то голубая ночь*... “Это очень хорошее выражение “голубая ночь”, — сказал я. — Могу я употребить его — вы позволяете?” — “Конечно”, — с усмешкой отвечал он.

И вот *единственные два слова*, которые принадлежат ему. Должно быть, они потом подали ему повод, при вытаскивании удачных моих выражений, *приписать их все себе*: “Я-де это все ему подсказывал или поправлял!” Иначе как объяснить, что эти выражения из “Обломова” и все удачные сравнения, фразы из “Обрыва” очутились у Ауэрбаха в “Даче на Рейне” и у Флобера, в обоих романах, тогда как “Обломов” написан был лет за 15, а напечатан лет за 12 прежде “Дачи на Рейне”?[79] Случайности во всем этом, конечно предположить нельзя!

Это тем более вероятно, что я всегда вслух, и словесно, и письменно, сомневался в себе, говорил, что не могу, не слажу, не знаю, как быть, и кончал тем, что доводил все до желаемого заключения, *никогда, никогда* не употребив, кроме этих двух слов, ни одной чужой фразы. А он, мастер пользоваться всяким мелким обстоятельством, вероятно, указал и на эти сомнения, признаки моей недоверчивости к себе, чтобы солгать, что он помогал разрешать мне эти сомнения. Может быть, он и раздавал щедро мое добро иностранцам, как свое, и этим удовлетворял своей зависти, мешал мне и рос в их глазах сам. Конечно, много раз случалось, что если из слушавших меня, например Стасюлевич, Софья Александровна, старшая дочь А. В. Никитенко (переписывавшая набело весь роман), заметят, что то или другое длинно или ненатурально и т. п., я сокращу, или дополню, или поправлю, но чтобы кто-нибудь и что-нибудь мне подсказал, то есть *прибавил*, — никогда!

Всех скупее на советы и замечания был Тургенев — и редко-редко скажет что-нибудь, а больше слушает да молчит[*115]. Он и теперь, при каждом слухе, что я будто пишу новый роман, бросается из-за границы сюда и *старается непременно увидеться со мною*, чтобы потом опять уверять и здешних и заграничных друзей, что я все пишу по его совету, что ли, или с его помощью, — кто его знает! Иначе, напиши я что-нибудь, не увидясь с ним, конечно, все поймут[*116], что и все прошлое — ложь! Он боится и мечется как угорелый! Я смекнул этот маневр, и года два или три тому назад просто не принял его. Тогда Стасюлевич, на следующий год, прислал мне его парижский адрес в Boulogne[*117], прося, как будто от себя, чтобы я “отплатил ему визит”[80]. А я не просил ни адреса, ни визита не заплатил. И все эти ползучие манеры, эти кошачьи ходы и выходы — он хочет приписать и приписывает мне (с больной головы на здоровую) и выставляет, под рукой, конечно (но я вижу теперь) не себя, а меня ужасно тонким, хитрым, лукавым и рассказывает, как я замечаю, что не он меня, а я его ищу,

добиваясь свидания с ним. Это продолжается и до сих пор.

В прошлом году весной та же штука: один из его прихвостней, какая-то подозрительная личность, Макаров, подошел ко мне в Hotel de France[*118], где я обедаю, и сказал, что приехал Тургенев и очень желает со мною увидеться здесь, за столом, пообедать, поговорить и т. д. и поручил ему сказать мне это. “Извините, — заключил он, — что я, незнакомый вам человек, взял это на себя”. Я сухо сказал ему, что я, кажется, видал его у Тютчева (Н. Н.), “а что касается до Тургенева, то хорошо: я с ним увижусь”. Но, однако, потом я прибавил [*119], чтобы Тургенев не заботился обо мне, что он приехал на короткое время — ему некогда, а я уезжаю в Финляндию. После того, дня через два, я наткнулся на Невском проспекте на Тургенева. Мой ответ, конечно, ему был уже передан — и он сделал гримасу, что как будто не рад был видеться со мной. Но избежать нам друг друга было невозможно — и мы поневоле сошлись. “Я хочу вам сказать несколько слов, Иван Сергеевич”, — начал я. — “Да мне теперь некогда, душа моя” — перебил он. — “Я не задержу вас, — продолжал я, — я только хотел сказать, что Вы поручили Макарову[*120] предложить мне повидаться с вами[*121]...”

Боже мой! Не успел я выговорить этого, как мой Тургенев замахал руками: “Никогда, никогда! Ни слова не говорил, не заикался! Какой Макаров! Какой Макаров! Я знать не знаю никакого Макарова...”

— “Это какой-то родственник Тютчева, что ли, и пришел от вашего имени...”

— “Лжет, лжет! — запищал Тургенев. — Я ничего ему не поручал. Он негодяй, его своя семья чуждается” и т. п. Пролил целый поток ругательств или “шишек”, по известной поговорке, на голову этого “бедного Макара”, или Макарова. Нельзя лгать более энергично, как он лгал!

Некрасов после пояснил мне, что этот Макаров — “лакей” (так он выразился) Тургенева, то есть прихвостень, и что Тургенев подослал его попытать меня, приму ли я его? Мне стало понятно, что он выбрал подозрительного человека, который, в случае нужды, пожалуй, и солжет, то есть скажет, например, что не Тургенев, а я просил повидаться, или просто отопрется, скажет, что вовсе ничего не говорил.

Другим своим приятелям и слугам, Анненкову, Тютчеву, он этого бы не поручил, потому что те считают его чуть не святым и сами на такую беззастенчивую ложь не решаются. Если б удалось ему, то есть если б я согласился повидаться, Тургенев узнал бы, пишу ли я что-нибудь новое, и если пишу, то хотя бы я и ничего ему не сказал о содержании, он все-таки, по прошлым примерам, сказал бы потом и здешним и заграничным своим почитателям, что, так или иначе, участвовал в моем труде — что я без него не обойдусь и т. д. Или сказал бы, что он мне сообщил свой замысел писать вот что, а я взял себе! А если бы стороной узнал о содержании, то поспешил бы сам написать об этом же какие-нибудь две-три страницы вперед, и потом сказал бы, что я заимствовал у него и опять перефразировал бы, и сам, и через франц<узских> или немецк<их> литераторов, мое сочинение, выудив из него лучшие места, как свои.

После, и именно прошлым летом (я третье лето провожу в Петербурге, то есть 1873—74 и 75), ко мне, в Летнем саду, где я ежедневно обедал, подослан был очевидно им же другой его прихвостень, подобный Макарову, именно некто Малеин. Это — сын, кажется, протопопа от Владимирской церкви, дослужившийся в Министерстве иностранных дел до чина д<ействительного> стат<ского> сов<етника> и до звезды и вышедший в отставку. У него претензия на светскость, на известность. Ограниченный, может быть, добрый, но довольно грубый малый. Я помню, помоложе, он все представлял в разных обществах трагика Каратыгина, удачно копируя его. Это была одна его специальность, а другая — тот факт, что

Гоголь, бывши в Риме, жил где-то близ его и прочел ему какой-то свой рассказ. С этим патентом он счел себя вправе тереться между литераторами, и я[*122] видел его в Баден-Бадене — между Боткиным, Тургеневым и другими. Вот его-то Тургенев понял и оценил, как надежнейшего, благодаря его ограниченности и самолюбию, слугу, прихвостня. Он именно и ходил по саду все с Макаровым; оба ожидали, что я заговорю с ними — и вот тогда они сейчас и донесли бы своему патрону, что *я с ними сам заговорил* — и конечно налгали бы, что заговорил о нем, то есть о Тургеневе. Но я, понимая, зачем они тут ходят, ни слова не сказал им. Тогда уже Малеин сам подошел и *без всякого с моей стороны вопроса* начал сообщать мне, что он видел Тургенева за границей и т. д. и что он делает! Не хочу грешить, говоря, что этот Малеин непременно солжет: я не знаю, способен ли он на это? Может быть, он просто хотел попытаться, не заговорю ли я сам о Тург<еневе>? Потом он выведывал, не пишу ли я чего-нибудь, тоже по поручению Тургенева, и очень настойчиво.

С 4-й и 5-й частями “Обрыва”, которые[*123] писались мною уже тогда, *когда я вовсе не видался с Тургеневым* (это все помогавшие ему знали — и для этого граф А. Толстой и выпроваживал меня из Петербурга до приезда туда Тургенева), следовательно, он не мог и солгать, что он тут что-нибудь орудовал, — тут он, относительно этих частей, прибегнул к другой манере: он подшептал своим приятелям по выходе их, что они *хуже написанного мною прежде* — и указывал в доказательство на некоторые слабые места. В этом он старался уверить и меня самого при встрече на улице. И те, кто сами не обладают критикою, особенно приятели, считая его гением, поверили ему слепо. Когда мне намекали об этом, я сказал им, что, напротив, за исключением некоторых мест, эти две части лучше, зрелее, цельнее и глубже, чем прочие. (Об этом я говорю в моей рукописи “Моим критикам”)[81].

Напиши я еще что-нибудь, так, чтоб ему нельзя было примазаться в няньки ко мне — он точно так же стал бы порицать: “Не годится, дескать, не то, что прежде! Вот, мол, что значит без моей помощи!” Перед появлением и вскоре после появления “Обрыва” беспокойство Тургенева становилось все яснее и яснее, особенно перед появлением. Повеяли, как теплый, южный ветер, вдруг откуда-то в обществе похвалы мне, моему таланту и проч. — со всех сторон. Он, чтобы очиститься от подозрения в зависти и не зная, что и как я напишу остальные части, отзывался обо мне высоко, и эти отзывы доходили стороной до меня. И я не был покоен, зная, что он там ткет свою паутину. Он старался выведывать, что было в 4-й и 5-й частях “Обрыва”, которые не успели сообщить ему союзники, так как я их читал только Стасюлевичу с женой. А я расспрашивал,[*124] что он пишет еще, чтобы знать, не захватил ли он как-нибудь и далее?

И вот — не помню, в конце ли 1868-го или в январе 1869-го, он прислал (для Каткова, в “Русский вестник”) повесть “Несчастная” (ее бы назвать *несчастная* повесть!), но прежде отправления в Москву, поручил своим наперсникам (Н. Н. Тютчеву или Анненкову, не помню) прочесть ее здесь, в Петербурге, нескольким человекам и *пригласить Стасюлевича* послушать[82]. Зачем? А вот зачем. Он узнал, что у меня в романе есть довольно бледная фигура — нежной, любящей, страдальческой Наташи. Чтобы сделать вполне похожим, что *не он — по моим, а я иду по его следам*, он поспешил навалять повесть с такою же личностью героини в “Несчастной”[83]. “Вот, мол, все это есть у меня!” При этом[*125] конечно он расчел[*126] по-своему, что я мог узнать о содержании от Стасюлевича, который-де был на чтении, и поместить у себя, хотя “Обрыв” был уже написан. Но поди после справляйся! За этим и пригласил его. Так как рукопись моя была уже у Стасюлевича — и (если это чтение происходило в январе или феврале 1869-го года), может быть, уже и печаталась — и Стасюлевич читал мой роман и знал о всех моих беспокойствах о проделках Тургенева, то он,

после чтения, заехал ко мне и старался успокоить меня, говоря, что там ничего нет похожего с моим романом[84]. Он, конечно, не узнал, за разными лицами и подробностями, нагроможденными Тургеневым, мотива *несчастной*, похожей своей судьбой и характером на Наташу в “Обрыве”. Тургеневу нужно было только заявить, что *все родилось у него и что я иду по его следам*. От этого Тургенев настаивал через своих слуг, чтобы повесть эта напечатана была *как можно скорее, не позже марта*, чтобы не сказали после, что он ее занял у меня, так как Наташа у меня — в первой части и помещена в январской книжке “Вестника Европы”. Но это не состоялось, и “Несчастная” была напечатана, кажется, в апреле[85]. Сам Тургенев опоздал написать ее потому, что так как Наташа была у меня не отделана, бледна, то я ее обыкновенно пропускал, читая роман слушателям, большею частию, со 2-й части, с приезда Райского в деревню. *Он поздно узнал о ней* — оттого поздно и написал свою параллель!

Вот как мелки и тонки его *расчеты*: о них, конечно, кроме меня, то есть жертвы их, никто не догадается! С целью такого же расчета, еще с сентября 1868 года, потянулся и перешел в 1869 год и печатался рядом с “Обрывом” перевод романа Ауэрбаха “Дача на Рейне” [86]. Я не обратил на него ни малейшего внимания, и никто тогда почти не обратил. Впечатление от “Обрыва” было огромное, несмотря на то, что его растаскали по частям. Стасюлевич говорил мне, что “едва наступит 1-е число, как за книжкой “Вестника Европы”, с раннего утра, *как в булочную* (его слова), толпами ходят посланные от подписчиков”. Роман мой печатался с января по май включительно, по одной части в каждой книжке. У журнала, как мне с благодарностью заявлял Стасюлевич, цифра подписчиков с 3500 возросла вдруг до 6000[87].

Я только слышал от Стасюлевича, тогда бывшего в большой дружбе со мной и державшего, конечно, мою сторону, что “Дача на Рейне”[*127] рекомендована горячо ему Тургеневым, который и познакомил его с Ауэрбахом, что Тургенев устроил дело, то есть чтобы автор давал роман свой переводить с рукописи, и в одно время печатать и по-русски [*128], когда он будет печататься по-немецки[88].

Наконец Тургенев написал и предисловие, помещенное перед романом, где выставляет автора каким-то близким, чуть не родным нам, черт знает почему, писателем и т. п., раздувая роман в какое-то образцовое произведение! Себя называет приятелем автора; он еще прежде, я помню, за год или за два до появления “Обрыва”, проговорился мне однажды, что ему надо, проездом в Париж, *дней пять пробыть в Берлине и повидаться с Ауэрбахом* (я слыхал после, что он гостил и у Флобера подолгу в его имении). Теперь мне понятна дружба [*129] его и свидания с этими господами! Я тоже, невольным образом был пособником перевода этого романа. Узнав, что роман громаден, я рекомендовал ему переводчицей С. А. Никитенко (старшую дочь), знающую языки и хорошо владеющую пером. Она уже много переводила [*130] и прежде и между прочим для “Отечественных записок”, когда их издавал, после Дудышкина, один Краевский, до Некрасова. Она очень трудолюбива — и не испугалась этой работы, перевода с мелкой немецкой рукописи. А Стасюлевич положил хорошую плату за перевод, по 25 р. за лист. Я и понятия не имел, что это за роман, и когда спрашивал у С. А., хорош ли он, она говорила больше в том смысле, что он — “скучноват!” Я долго, с год, кажется, не читал его и в печати, слышал только, и от самого А. В. Никитенко и от других, что “длинно и скучно!”

Впечатление, произведенное “Обрывом”, заглушило его. До меня дошли слухи (и конечно до Тургенева тоже), что читая “Обрыв”, кто-то вспомнил о нашей с Тургеневым старинной (в 1855, а “Обрыв” явился в 1869, следовательно, 14 лет спустя) размолвке по поводу “Дворянского гнезда” и расшевелил толки, найдя, что был прав я — и что “Гнездо” есть миниатюра “Обрыва”. Анненков слышал также множество толков, между прочим, в Английском клубе — и пришел ко мне откровенно сообщить их и прибавил как-то искренно: “Большому кораблю большое и

плавание!” Тут я заметил, что в нем мелькнула хорошая черта, как будто маленькое раскаяние в том, что он тогда, в объяснениях, так положительно принял сторону Тургенева. Это было заметно и в его тоне. По самолюбию, что он был dupe[*131] хитреца, конечно он не сознался явно, но все-таки это проявилось в нем. Он старался иногда, правда, слабо, попробовать оправдать Тургенева в моих глазах: “*Вот вы ленились,* — заметил он однажды, — *а другой взял да и сделал вместо вас*”. — “*Но ведь такой plagiat по-русски называется воровство*”, — сказал я. — “*Ну, пожалуй, воровство*!”[*132] — повторил он равнодушно, вполголоса, и мы ничего больше не сказали.

Тургенев знал о впечатлении, произведенном “Обрывом”, и вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего, пустил статью в “Вестнике Европы” — “Воспоминания о Белинском”. В ней он, рисуясь дружбой Белинского к нему, и в то же время третируя Белинского несколько свысока, между прочим сделал нечто вроде смотра всем живым литераторам. “Вот-де Белинский сказал бы о том и о другом то и то”, — писал он, — и перебрал всех с Толстого (Льва), Островского, Писемского, меня до Решетникова, обо всех *отозвавшись с приличной каждому характеристичной похвалой*. Обо мне упомянул просто, *поставив меня рядом с Лермонтовым*[89]. Все это — *чтоб его не заподозрили в зависти* по поводу сходства “Дворянского гнезда” и прочих повестей с “Обрывом”. “Вот, мол (скажут), — как он высоко ставит других: какая же может быть тут зависть!” Расчет верный!

Между тем — я, решась уже ничего больше не писать, измученный, преследуемый каким-то всеобщим за мной шпионством и всей этой борьбой, подозрениями, волнениями, сложил руки в рукава и объявил, что не буду больше писать, и стал читать от скуки все, что попадалось под руки, между прочим и “Дачу на Рейне”[90]. Меня поразила эта штука. Это ни что иное — как перенесенный[*133] на немецкую почву и переложенный на немецкие нравы “Обрыв”!

Все идет параллельно, со многими, конечно, вставками и дополнениями, но вся mise en scène[*134], многие характеры, расположение сцен, самые сцены, темы разговоров — все, все очевидно писано по копиям с моих тетрадей!

Тогда-то я вспомнил о тех препятствиях, какие старались мне делать, втягивая меня, например, в одну комическую переписку, не давая мне покоя[91] — писать свое, наконец вспомнились мне и ходившие за мной уже давно и гнездившиеся в Мариенбаде в одном коридоре подозрительные личности — и наконец намеки графа А. К. Толстого, чтобы я не встречался с Тургеневым, и его порыв повидаться с Ауэрбахом по прослушании моего романа, и наконец желание некоторых лиц, чтобы я *поскорее* прочитал им, еще до печати, мой “Обрыв” (чтобы поправить, по возможности, сделанное мне, по наущению лгуна и завистника, зло) — и мне ясно стало, что *против меня действует, точно в заговоре, какое-то общество*... за что? кто? Мне стало больно и страшно жить! Я задумался не на шутку: стали у меня делаться сильные нервные припадки, почти обмороки! Я видел уже не одного Тургенева, а целую кучу невидимых врагов, на каждом шагу оскорбляющих меня разными неприятностями, глупыми шутками, смехом — словом, я был в какой-то осаде, страшной нравственной тюрьме! “За что и кто!” — допытывался я напрасно у себя и у других! Я мог с царем Давидом сказать, что и близкие мои “сташа далече мене”[92]. Всех как-то систематически удалили мало-помалу от меня. Едва я с кем-нибудь сближался, часто посещал — я через некоторое время замечал, что отношения того лица или лиц начинали принимать со мной какой-то странный характер. Меня слушали с усиленным вниманием, замечали, что я делаю, делали разные вопросы с умыслом — и потом мои отзывы отражались, так или иначе, вскоре как-нибудь на деле.

Я долго ничего обыкновенно не замечаю, что около меня происходит, если это не касается меня, но если уже обращу внимание, то, по мере того, насколько это меня занимает, я дохожу

почти до ясновидения. Так, например, я видел, что за мной следят и на улицах — и угадывал, кто именно, хотя эти личности употребляли такой маневр, что будто им до меня дела нет. Но мне стоило только обернуться и я всегда узнавал того, кто следит. Редко кто из них не смущался, а большею частию бросались они уходить скорою походкою или начинали смотреть в окна магазинов. В разговорах я тоже отличал не только цель разговора по содержанию, но и угадывал почти значение каждого вопроса и слова. Иногда видел, что некоторые поспешали, тотчас после разговора, в кабинет записывать — и мне случалось, пойдя осторожно за ними вслед, ловить их.

Одни, конечно, легко склонялись на эту роль, от праздности и желания угодить тем или другим. Близкие же мои знакомые, так называемые *друзья*, соглашались, конечно, в тех видах, как их уверили, что я “много говорю хорошего, что это пропадает даром, и потому надо подбирать”.

Они и подбирали и давали это, вместе с моими письмами, не одному Тургеневу, но и другим, а те делали из этого какие-то quasi-литературные произведения, то из смысла моих слов, то из моих поступков — и сколько мелочей, повестей, даже одна комедия вышли из этого сора! И конечно все — плохо, например: “Фразер” (не помню настоящего заглавия тургеневской повестцы), потом “Странная история”, “Стук-стук-стук”[93] и т. п. его же — и все в этом роде, где — или сделаны *сколки* с моих писем, или с меня самого какие-то слепки-карикатуры. Конечно — для Тургенева и для тех, кто соорудил всю эту интригу против меня, было нужно, чтобы мне помешать писать для печати, перехватывая у меня материал (*он* и *другие* думали, что я буду это или об этом писать, что было в письмах и в разговорах), а цель *других* была еще — *узнавать меня, что я такое*. Действительно ли я *таков, каким являюсь в письмах и в разговорах, или я авторствую, и если авторствую, то какой же я в самом деле: Обломов ли, Райский ли*, консерватор или либерал, потому что я всегда говорю *за правду*, где бы ее ни видел, хотя бы в самых либеральных рядах, *и не люблю лжи нигде*, следовательно, ратую и *против* либералов, когда они врут или хотят вздору, и против консерваторов тоже. *Кто же я сам?* Напрасно я кричал изо всех сил, что я *художник*. Более всего смущала их подвижность, неуловимость моей нервозной натуры, игра и капризы (иногда странные и непонятные мне самому) воображения, противоуположные рядом ощущения или образы и мимолетные выражения этих ощущений, впечатлений, капризных идей, желаний и проч. — словом, всего, что происходит в нервной, раздражительной и впечатлительной натуре! И мои невидимые мучители хотели добиться толку, дознаться среди этой игры воображения и нерв — до моих коренных, капитальных чувств, мыслей, убеждений!

И для этого часто употребляли всякий сброд, каких-то Ноздревых, чуть не солдат, которые только оскорбляли меня своею грубостью, злостью, нахальством!

А сколько лжи наплетали на меня эти контролеры моих речей и поведения: одни — из видов угодить, другие — за что-нибудь мне нагадить, а наконец третьи — от совершенного непонимания моей натуры. Конечно, иные лгали из самолюбия, что угадали все во мне, — и передавали, что хотели или что им казалось! И эта пытка тянулась годы и тянется до сих пор!

Забывали, что подвергать такой пытке живой организм — просто мерзко, что это похоже на какой-то разбой и грабеж — против личности, посягательство на свободу, собственность, здоровье, покой, на все права человека!

Стараться посредством шпионства и каких-то грубых, почти полицейских мер и приемов проникнуть в душу страстного, нервного, впечатлительного организма, куда может проникать, и то без полного успеха, только необыкновенно тонкий психологический и философский анализ!

Понятно, что должно было делаться с этим организмом: под ноздревскими ударами *со всех сторон* он начал метаться, извиваться; тут новые крики: “А! ты изворачиваешься, убегаешь —

значит[*135] фальшивишь! C’est impayable![*136]

Даже с знакомыми моими, которых хотели склонить узнавать меня, употребляли такой иезуитский прием: узнают, например, что я выразился о ком-нибудь из них резко, сейчас ему передадут это — и вот, вместо приятеля, у меня враг, который и сделает все, что потребуют у него против меня! Видите, вся эта история предпринята со мной, между прочими целями, и с тем еще, чтобы исправить меня от моих пороков, которых конечно у меня много, между прочим от мнимого злоречия, так как я (по впечатлительности своей, а уж никак не по злости) обращал жало данного мне гибельного анализа против всего, что под него попадалось — во всех, и в близких, и не в близких! Не принято было в соображение и то элементарное чувство справедливости и гуманитета, что с одною личностью так поступать нельзя, то есть наблюдать[*137] во сто глаз каждое его движение, счесть как волоса на голове, все его не только слова и поступки, но уследить и мысли — и потом передать это оглашению и суду массы! Так не исправляют, а убивают, и притом убивают медленно и тысячу раз. Если уже делать так, то надо делать со всеми, а не с одним. И все это за то, что в его характере, таланте есть нечто свое, оригинальное; это не причина, чтобы терзать его при жизни! Тут нет никакого уважения к обыкновенным, данным Богом всякому, человеческим правам! И за что? Какие цели? Если человек даровит, то тем более, кажется, надо бы щадить его, предоставив ему делать или не делать свое дело — и делать то и так, как он может и хочет? Я, конечно, старался дать понять это: но куда! Каковы еще нравы в наш век! Не было даже принято в соображение и то, что мне и некогда было отдаться вполне литературе. Я должен был служить, жить, следовательно, по недостатку средств в Петербурге, в неблагоприятном для пера климате, что не было у меня ни деревни, ни денег жить за границей, как у Толстых, Тургенева. А меня мучили,[*138] ломали, как дети игрушку, чтоб узнать, что такое там?

Но тут много было целей: может быть, я скажу о них, если придется к слову, в конце этих записок. Но, вероятно, другие скажут полнее меня (если скажут), а я подробно всей этой штуки и шутки, то есть всей истории не знаю. Знаю только, что это могло случиться лишь у нас, в России... и что мне тошно жить от этого и нет средства успокоиться, потому что я даже не знаю, что для этого надо делать: я в совершенной темноте!

Обращаюсь к “Обрыву”. Меня поразила эта штука, сходство “Обрыва” с “Дачей на Рейне”[94].

Волга и Рейн: дача — большой дом и маленький (виноградный) домик, как в “Обрыве”, в Малиновке, там две героини, немецкие — Вера и Марфинька (кисейная барышня) и бабушка, в виде жены профессора, и учитель или ученый, вроде Козлова — и разговор его с Эрихом, похожий на разговор Райского с Козловым — и какая-то барыня, у Ауэрбаха — с глазами Медузы, у меня — русалочными глазами (“Обрыв”), и в конце писание портретов (как Райский с Веры), и религиозность героини, как Веры, словом, все 3 первые части “Обрыва” ушли туда и распущены в бесконечной воде этого скучного quasi-романа. Далее мало похожего. Здесь Тургенев, очевидно, помнил первый мой план, как я ему рассказывал в 1855 году, в котором Вера уезжала с Волоховым в Сибирь — тут, в “Даче на Рейне”, Эрих и, кажется, героиня, уезжают в Америку на войну.

Конечно, ни у кого не достанет охоты (и у меня самого нет ее) прочесть оба романа и сличать сходства всех мест до фраз, некоторых сравнений включительно, и, между прочим, и тех двух или трех фраз из “Обломова”, о которых упомянуто выше, и именно: героиня в “Даче на Рейне” тоже, решившись выйти за Эриха, говорит, как Ольга в “Обломове”: “Я его невеста”... и т. д., с некоторой переменой двух-трех слов — так что если взять каждое место отдельно, то можно отнести к случайности, а если взять все — с плана и идеи романа до характеров и сцен,

то и видно, что таких случайностей быть не может и что *сущность* — одна, с извлечением ярких и лучших *деталей*.

Когда я сказал Тургеневу об этом сходстве (при встрече на улице, по поводу Макарова) “Обрыва” с “Дачей на Рейне”, он сказал, что это “не он, что он тут не причем, а *другие*”. — “Как же вы писали и предисловие?” — спросил я. — “Не я писал, я только подписал его, почти не читая!” (Подлинные слова)[95].

Я, однако, в этой краткой встрече на улице с Тургеневым успел сказать кое-что в главных чертах из того, что здесь пишу подробно[96]. Он так верует в свою ловкость, хитрость и все эти мелкие расчеты, что считает себя совершенно укрытым в сотканной им паутине, что его заметно поразило мое объяснение. Он угадан! Он! такой *гений — ума* (он, кажется, серьезно считает свои мышиные, подпольные ползанья и *расчеты* за ум, не соображая, что каждая тонкая барынька-кокотка, водящая за нос мужа, двух-трех любовников и кучу окружающего ее люда, заткнет его за пояс на почве ума этого рода) — что наконец расчетам и тонкостям его больше чем наполовину помогают обстоятельства, как то: *пребывание и связи за границей, а главное — интрига против меня со стороны*.

Я в этой встрече объяснил Тургеневу, почему я избегаю его, почему не принял его за год перед тем и не отдал ему визита, ни здесь, ни в Париже. “Я вижу, — сказал я, — что вы, то под своим, то под чужими именами, переводите мои романы на немецкий и французский языки, ломая обстановку, перефразируя редакцию, выбирая и разбрасывая по разным местам те или другие выражения, сравнения, картинки, сцены, перенося место действия и т. д.”.

— “Где же? Укажите!”

Я назвал “Дачу на Рейне”; тогда он и отвечал вышеприведенные слова, не сказав, конечно, кто эти *другие* и как они могли подсказать Ауэрбаху *все подробности до конца моего первоначального плана, которого не знали*, и включить туда те места, даже из “Обломова”, которые при чтении *так нравились ему*! “Таких сходств случайно быть не может!”

— “Вы готовы обвинить меня, что я таскаю платки из кармана, но мне до этого нет дела! — сказал он. — Итак, вы уже однажды назвали меня гениальным шулером!”

Я не помню, когда я назвал его: вероятно в переписке, когда-то бывшей между ним и мною по поводу размолвки о “Дворянском гнезде”. Полагаю, что вместо шулер — у меня было сказано игрок. Впрочем не знаю!

— «Хорошо, пусть другие участвовали в “Даче на Рейне”, а два французские романа»... — заметил я[97].

— “Даю вам честное слово, — живо перебил он, — что я о вас французским романистам ничего не говорил, не заикался”... (“Стало быть, — немецким говорил”, — подумал я, — но *что* именно?”)

— “О, я верю этому вполне, — сказал я, — зачем вам знакомить их со мной, когда вы передали им целиком мой роман и сделали из него два”...

— “Зачем же я это сделал?” — спросил он.

— “Из зависти!” — просто и откровенно ответил я.

Едва я произнес слово *зависти*, Тургенева, что называется, передернуло: он побелел, как мука, мускулы лица вдруг дрогнули. Если б кто-нибудь другой был тут [*139] (это было на Екатерининском канале, куда мы незаметно свернули с Невского во время разговора), кроме меня, тот увидел бы, что мои слова попали не в бровь, а прямо в глаз!

— “Нет, нет, — скороговоркой забормотал он, — я выбрал бы другой талант, сильнее вашего, если б завидовал”. Я любовался им, пока он говорил это.

— “Кого же бы выбрал он?” — думал я. Писали в то время: Дружинин, Григорович

(“Деревенские рассказы”), Достоевский написал “Бедные люди”; все это — даровитые люди, но не в его роде (я один, по роду сочинений, был его соперником), а главное, *никто из них вперед ему о своих замыслах не говорил*; он это обстоятельство хотел похерить и из моей даже памяти.

— “Нет, нет, не я и не вы (бормотал он), — первые писатели” (“И что за первые писатели в наше время! что за школьничество!” — думал я, глядя на этого первого...)

— А кто? — спросил я с любопытством, — Островский?

— Нет, граф Лев Толстой[98]. (А граф Лев Толстой в то время, когда начались эти заимствования у меня, явился только еще с военными рассказами).

Словом, он был смущен тем, что его осмелились угадать (а он так веровал в непроницаемость своих расчетов!) его планы, и сам не знал, что говорил!

— Полноте, И<ван> С<ергеевич>, — сказал я, — вы всеми мерами добиваетесь этого первенства, делая вид, что это вас и не занимает совсем, наружно небрежничаете, а между тем всю жизнь вашу положили вы в эту интригу (его опять страшно передернуло при этих словах — он даже вздрогнул). — Уже другие говорили мне, — продолжал я, — что у вас, после “Записок охотника” да “Первой любви”, “Аси” — ничего своего не было... (И действительно мне говорили это несколько раз — и между прочим К. О.)”. — Вы, — продолжал я, — домогаетесь доказать за границей: que la littérature — c’est moi,[*140], то есть Вы![100] Вы берете мои повести, ломаете наружную обстановку, удерживая всю психологическую подкладку, выбирая лучшие места, даже отдельные фразы, делаете слепки с разговоров, картинок — и ставите ноги в те следы, где я иду...

— Да, да, — с усмешкой и глядя в сторону[*141] перебил он, — да, это вы так делаете...

— У меня есть еще кое-какие письма о том, когда именно писались мои романы, — сказал я[101].

Он при этом как-то странно и загадочно улыбнулся. Я понял отчасти эту улыбку. Говоря Стасюлевичу об этой истории, я прибавил, что я желал бы забыть ее[*142] и забыл бы, если б не мешал “Обрыв”. Так как я его уже напечатал, то, помимо моей воли и воли Тургенева, толки могут быть подняты со стороны. “Между тем, — прибавил я, — я бросил почти всю переписку по этому поводу в огонь” (вот эти слова Стасюлевич, сблизившись потом с Тургеневым, конечно, и передал ему), кроме, однако ж, двух-трех случайно уцелевших писем, где говорится в намеках о моих романах.

— Ну, хорошо, — вдруг вспомнил он, — а после “Обрыва” — вы ничего не писали, а мои сочинения — откуда? У Вас взял? (Он разумел вышедшие после “Обрыва” его мелочи: “Бригадир”, “Стук-стук-стук” и т. п.).

— А это, — сказал я, — вы начерпали сюжеты из моих же писем, которые вам передавали! — Он вдруг остолбенел и поглядел на меня с изумлением. Он видел, что я догадался и об этом источнике!

— Да, много тут лжи,[*143] — продолжал я, — вы приписываете мне то, что сами сделали, говорите под рукой, что не Вы заимствовали у меня, а я у Вас — словом, выворотили правду наизнанку... ложь![*144]

— Вот вы говорите теперь, — перебил он, — что я поручил Макарову передать Вам о желании видеться с вами, а я ему ни слова не говорил! — солгал он опять.

— Я не приписываю этому никакой важности, — сказал я. — Оставим это! Но мне все это наскучило (я разумел — эти подсылки кумовьев и прихвостней, выведыванья, все эти гадкие тревоги, чтоб не давать мне писать).

— Не хочу разбирать, насколько тут правы или виноваты другие: очевидно, конечно, что они тут впутываются между нами; может быть, кому-нибудь нравится ссорить нас, не знаю их

целей, а знаю только, что ничего подобного ни до нас не было, ни после нас не будет — таких сходств случайно быть не может! Предлагаю вам вот что: быть друг другу чужими, стать опять друг к другу в то положение, в каком мы были до смерти Дружинина. Может быть, покойнее будет. Мы не говорили и не кланялись: поклон я готов всегда отдать при встрече...

— Ну, хорошо, хорошо! пускай, пускай! Не надо и поклона! — живо и как будто рассердившись проговорил он. — Прощайте! Фуй, фуй! Зависть! Как это можно!"

И мы разошлись. Разговор передан с буквальною точностию. Не знаю, как он передал его своим друзьям[102]. Я передал его только одной или двум очень скромным особам. Не думаю, чтобы они пересказали его кому-нибудь.

Обращусь назад. Пока печатался "Обрыв" — к концу этого времени, в апреле, вдруг толки хвалебные будто стали смолкать — и до меня долетали такие фразы, сказанные в мое оправдание не мне, а другим, вполголоса: «Помилуйте, — говорило одно лицо, — да я знаю "Обрыв" с 1860 года!». ("Верно, Тургенев уже подсунул что-нибудь, пустил втихомолку каплю яду, чтобы отравить успех романа!" — подумал я). Так и вышло! Я стал прислушиваться — но мне ничего не говорили. Случайно как-то не помню кто заговорил со мной о "M-me Bovary" par Flaubert[*145] — и спросил, читал ли я этот роман. Я сказал, что нет. "Ах, прочтите, прочтите, — заговорили мне, — что это за прелесть!" И осыпали похвалами. Я достал книгу, начал читать, но эта картина des moeurs de province[*146], как там сказано (мне неизвестных) — показалась мне скучна. Я бросил. И спустя уже значительное время после выхода "Обрыва", слыша[*147] опять толки об этой книге, как будто намекающие на некоторые характеры "Обрыва", прочел ее внимательно — и с большим, правда, трудом, выделив из кучи чуждой обстановки, чужих нравов, подробностей характеры двух-трех главных лиц, узнал в них подобия из "Обрыва": именно — *в лекаре*, муже героини, — учителя Козлова, в madame Bovary, его жене, — Улиньку, жену Козлова, тут же и *студент* (Райский), знавший ее девушкой и любивший ее и опять *сошедшийся с нею*, как Райский с Улинькой. Словом, фабула романа, план, главные характеры, события романа, психология — это параллель эпизода Козлова и жены.

Но это так искусно утоплено в массе подробностей чужой сферы, прибавлений — что надо знать "Обрыв", как я, чтобы отыскать это сходство!

"Тогда, значит, и нет сходства!" — скажут на это. Нет, есть. Прочитавши обе книги, одну за другой, спросите себя, какой характер у Козлова и какой у лекаря Бовари? Капля в каплю: один и тот же! Точно то же и у обеих женщин! И Улинька и m-me Bovary — один и тот же тип! Вот, если бы перевели "Обрыв" на французский язык — там наш дорогой патриот Иван Сергеич сейчас бы и указал, что уж это-де по-французски (а как видно, что оно писано не франц<узским> пером и не в духе французском!) и что конечно уж *русский автор заимствовал* у французского, тем более, что "Madame Bovary" *вышла* в 1857 или 1858 году, как видно из статьи о ней в "Парижских письмах" Эмиля Золя ("Вестн<ик> Европы", 1875 — сентябрь, октябрь и ноябрь), и вдруг прославила автора и даже повела к процессу в суде о безнравственности героини![103]

"В самом деле, — скажут, — как же — *в 1857 году*". — "А так же! *Я весь роман залпом рассказал Тургеневу в 1855 году*! Все, решительно! Как теперь помню, как особенно описывал студенчество Козлова, его неловкость, бедность, нелюдимость, как молодая девочка Улинька и товарищи его смеялись над ним, как она сняла фуражку с него, а он[*148] не заметил и жадно ел! То же сделано и с лекарем Бовари, но для того, чтоб уничтожить наружное сходство, — Бовари женат на второй жене, ест он также много, но это перенесено из детства в зрелый возраст, кроме того придумана куча других лиц и эпизодов! Цель зависти тут та, чтобы взять мое и спрятать туда: "Вот-де, не у тебя, а у другого *это было прежде*!" Пересказывая[*149] свой роман

Тургеневу, я остановился особенно на этих подробностях и потом рассказал характер Козлова, уже учителя, его доброе сердце, его ученость и безнравственность жены.

Конечно — я не все сцены конца подробно рассказал ему, потому что едва ли тогда сам имел их в виду — и потому сходство и ограничивается больше только первыми моими 3-мя частями, а далее[*150] уже в “Madame Bovary” идет другое. Тургенев, очевидно, помнил типичность характера (он, конечно, после моего рассказа тотчас записал все, иначе не упомнил бы), и они там вдвоем и обработали и приделали *к этому характеру* нелепейший конец, *самоубийство ее*, в чем Золя справедливо и упрекнул его в своих критич<еских> “Парижских письмах” (Вестник Европы, сент<ябрь>, окт<ябрь> и ноябрь 1875)[104].

Я почти плакал сам, когда рассказывал, как нежно любит и как *прощает* потом Улиньке *ее муж*. А они *реально* выжали из этого сок: “Je ne vous en veux pas!”[*151] — говорит (глупо конечно и вяло) муж своему сопернику после смерти жены у Флобера, и Золя возводит это “Je ne vous en veux pas!” в *величайший, величайший* — grand, grand, grand[*152] — перл создания, в пафос, какого *во всей французской литературе нет*![105]

Под каким предлогом, повторяю я, мог Тургенев передать Флоберу то, чего сам не решился взять себе? Как *свое?* Вероятно, так — и я верю (на этот раз) его *честному слову, что он французским литераторам обо мне не упоминал* (см. вышеприведенный разговор).

Упомяни он — тогда бы, пожалуй, захотели узнать, что я такое, и даже порывались одно время, по поводу “Обломова” (как выше сказано)[106], да он как-то замазал, а я сам этим вовсе не интересовался. Теперь вижу, что напрасно! Он между тем успел остальное расхватать, частию сам (“Дым”, “Отцы и дети”), частью разбить на куски и потом эти куски сложить опять *другим узором*, по своей *системе*: удержав фабулу, то есть *содержание (фабулы* в строгом смысле в моем романе нет) — ход и главные характеры, сократить и сжать сцены и вообще выудить все, что *характеристично, удачно* — так, чтобы моя книга была выдохшеюся ветошью, *повторением чужого* — и все это исполнить в другом романе под именем Флобера, “Education sentimentale”.

Да еще, как я выше сказал, он переделал 1-ю часть “Обыкновенной истории” — в свои “Вешние воды”, которую и перевел, через своих агентов, на все языки, как и свои прочие повести! Переводите теперь меня, если угодно: пускай! Уж это все есть на других языках — и у Ауэрбаха, и у Флобера, а более всего у него самого и — и, конечно, еще где-нибудь! Недаром однажды, по поводу этих сходств, когда я намекнул ему на один роман, не называя, он, захлебываясь в восторге от своего успеха, сказал: “Да в котором из них?” — и поглядел на меня с торжествующей иронией, счастливый, конечно, внутренне этой своей *гениальностью*. Может быть, он перевел и “Обломова” где-нибудь, да я не знаю. Впрочем, последний переведен, и то не так давно, на немецкий язык![107]

“Education sentimentale” вышел в 1870 году[108] — очевидно, здесь снят слепок уже с напечатанного в “Вестнике Европы” “Обрыва” — в 1869 году (а может быть, угодливые *союзники* и заблаговременно доставили ему копию), — но он сделан как будто торопливо. Выходит что-то странное: один пришел, сказал два слова, ушел, вошел другой, посмотрел, третий проехал по улице, пятеро позавтракали, поговорили, один связался с той, потом побежал к другой и т. д.! Какая-то подвижная панорама[*153] парижской бульварной беготни! Это просто *сокращение* “Обрыва”, с переложением[*154] русских нравов на французские, но уже местами с бесцеремонным удержанием или выдержками почти целиком клочков из разговоров и картин. Для примера я укажу некоторые — потому что не станет ни моего, ни чужого терпенья следить подробно за всем[*155]. Например, в 1-м томе “Education sentimentale” (издание 1870) — стран<ицы> 17, 19, 23, 26, 43, 88, 89, 90, 91—167 заключают в себе

разрозненные *следы* и *клочки*, искусно выбранные из сцен и разговоров в “Обрыве”. На стран<ицах> 17 до 19 взят*[156] легкий намек, в характере матери Фредерика (Райского), на характер Бабушки в “Обрыве”: как *она любила угощать*, как *хозяйничала, скопидомничала*,*[157] *не тратила даром свеч, как и к ней езжал архиерей*, далее, как она *бранит сына* (у меня внука) за*[158] то, что Райский, не успевши приехать и повидаться с ней, бросается отыскивать своего приятеля (1 глава “Educ<ation> sentim <entale>” в конце). Взято — где слово из меня, где фраза — и все вставлено*[159] в свои сцены описания.

Нельзя было списать самых образов, портретов целиком, подробно: тогда бы похищение*[160] слишком бросалось в глаза всем и возбудило бы громкие толки. Поэтому француз Courrière в своей “Histoire de la littérature russe” (подшептанную, конечно, Тургеневым) и отводит мне в литературе место *живописца* (roman-peinture)[109]. Но ведь это значит все: если образ так удачно написан, как они говорят, он — стало быть*[161] — и говорящ. И в искусстве только образ и высказывает идею, и притом так, как словами, и *умом* (у Тургенева, по свидетельству все того же Courrière) рассказать никогда нельзя. Выйдут не образы, а силуэты, потому что сняты не с натуры, а копированы с чужого. От этого, может быть, ни “Madame Bovary”, ни “Education sentimentale” и не завоевали себе во французской литературе того *великого значения*, какое им хотели сообщить общие усилия Тургенева и Золя, хотя и имели значительный успех. Это, между прочим, кажется, и потому, что — простота и голая правда, которую Тургенев выудил из русского романа, — не во вкусе и не в характере французского национального ума, воображения и взгляда на искусство. Там, без эффекта — не обходятся: он, как перец в кушанье, нужен их избалованному вкусу. У всякого народа есть свой склад умственный, нравственный и эстетический, следовательно, и своя особенная манера, под которую всякая попытка подделаться окажется более или менее неудачною, несмотря на такой значительный талант, как Тургенева, очевидно, работавшего в сочинении этих *параллелей* более самого Флобера, известного до тех пор, то есть до “Madame Bovary”, только какою-то восточною повестью “Salammbô”[110]. Я полагаю так, а впрочем — не знаю. Может быть, эта ложь превозможет мою правду*[162] — должно быть — за мои грехи, только уж никак не в этом деле!

Замечу еще, что “Madame Bovary”, как видно, передавалась Тургеневым по памяти, с моего рассказа, хотя и тотчас после рассказа — вероятно, в 1856 году, потому что книга давно вышла (в 1857 или 1858, “Вест<ник> Евр<опы>”, 1875, “Письма” Золя), и оттого там, кроме намека на фуражку студента Bovary — Райского, да еще фраза je ne vous en veux pas, выражающая прощение Козловым жене, — других буквальных выдержек, как в “Education sentimentale”, — нет. Значит,*[163] он передавал по памяти — или по своей записке!

Далее в “Education sentimentale” (во 2-й главе I-го тома 1870 г.) на стра<ницах> 23 и 26 — описываются очень близко вкусы и склонности*[164] Fréderik и Deslauriers*[165] (Райского и Козлова), их занятия — с переменой отчасти *латыни* Козлова на метафизику*[166], однако же не забыта и любовь к древним (Platon), а Фредерику без церемонии приписана целиком страсть *к роману*, как у Райского (стран<ица> 23), потом его колебания — между *музыкой и живописью* (страница 26, 2-я глава) — Райский разрешается сочинением *полек и мазурок* (у меня), а у Флобера Фредерик сочиняет *немецкие вальсы*.

Далее на 43 странице (гл<ава> III все того же 1-го тома) упомянуто и о том романе, который задумывал писать Райский в молодости, до другого, большого своего романа. И Фредерик тоже затевает писать роман “Sylvio” — тут *нагло* и близко перефразировано все, что сказано у меня об этом романе. Значит — роман “Educ<ation> sent<imentale>” писался, так

сказать, под диктовку Тургенева — *в 1869 году*, по мере того, как он получал январскую, февральскую, мартовскую и апрельскую книжки “Вестника Европы”, где печатались, одна за другою, 5 частей “Обрыва”. Вошли сюда, во французский роман, извлечения из 3-х первых частей; далее этого Тург<енев> не заимствовал, потому что его цель, как я вижу из этого, была показать, что он помогал или подсказывал мне (Бог его знает!), словом, так или иначе, участвовал в первых трех частях — *а остальное, мол, слабо, плохо*, то есть две последние части, так как *всем было известно*, что я писал их, *не видавшись с ним*.

Страница 88 (“Educ<ation> sentim <entale>”) — заключение IV-й главы — тоже резюмирует колебания Фредерика между *живописью и романом*, как и у Райского, — и это выдернуто почти целиком из “Обрыва”.

Выкраивая смело эту *объективность и реальность* из Райского, Тургенев, разумеется, имел в виду то, что “никак, конечно, не подумают, что Flaubert, великий (после “Madame Bovary”) Флобер! — мог заимствовать у русского автора, а вот-де русский автор заимствовал — и жену Козлова, и Бабушку, и Райского — все у меня (Тургенева) да у Ауэрбаха, а потом у Флобера, потому что-де с сентября 1868-го года “Дача на Рейне” начала печататься в “Вестнике Европы”, а “Обрыв” начался там же только с 1869 года, января, — следовательно, он (то есть я) шел по следам этих трех гениев, а не мы же за ним — когда “Bovary” напечатан еще в 1857 или 1858 году! А вот, мол, он на меня и клевещет! Тогда как я ему, а не он мне рассказал свои литературные замыслы! Где доказательство противного? Две-три записки[*167] да старые объяснения? Это все забылось, свидетели частью умерли, частью они — мои кумовья — и никто ничего помнить не станет!” и т. д. Таков *расчет*[*168]Тургенева — и он верен до сих пор; не знаю, что будет дальше!

На 90 и 91 стр<аницах> “Educ<ation> sentimentale” есть параллель *разговора между художниками* с разговором Райского с художником Кириловым в самом начале “Обрыва”, а на 167 стр<анице> VI главы того же тома[*169] *прогулка Фредерика с маленькой девочкой и разговор с ней и книги*, которые он ей указывает, и как она боится страшных книг и т. п. — *есть сколок с такого же разговора Райского с Марфинькой* , когда он приезжает в деревню и не видит еще Веры! И он, *Фредерик, рисует ей, и читает с ней* “*Макбета* “— и как она пугается *страшного конца*. Далее следует уже характер девочки другой, дикий![*170] Все перепутано и раскидано в разные места, а все напоминает, там и сям — “Обрыв”. Место, где у меня Райский кается, что хотел пробудить чувственность в Марфиньке — сокращено в такой же сцене Фредерика с этой девочкой и выражено одной фразой: “Ah, je suis tranche canaille!”[*171], подобно тому, как в “Бовари” фраза “Je ne vous en veux pas!”[*172] Вот это они и называют с Courrière — писать *реально*, *умом*! В самом деле — умом!

Всего ближе скопирована III-я глава 2-й части “Обрыва” — прогулка и разговор Райского с Марфинькой. В “Education sentimentale”, во 2-й части, глава V, эта моя 3-я глава сжата на пяти страницах — с 9 по 15.

Тут тоже взято описание *запущенного сада с старым домом* , потом огорода — только короче, выбрано что получше. Потом разговор, где Райский искушает Марфиньку, повторен с легкими переменами, конечно; например, поминаются другие *книги*, нежели у меня, вместо *птичек* Марфиньки, у Луизы *рыбки*, — но цветы, вся прочая обстановка оставлена почти без перемены. У Флобера в разговоре так же робеет Луиза перед Фредериком, как Марфинька перед Райским, боится так же учености его, светскости, так же по-детски разговаривает, наивно, смотрит на реку вдаль, видит *облачко*, так же стыдливо отвечает на ласки Фредерика, как Марфинька на ласки Райского. Словом — все, почти целиком! Потом идет вдруг свое, другое, французские нравы, вставлена революция, толки либералов, а там — где-нибудь (не найду, где)

вдруг вставлено заключение этого разговора: je suis tranche canaille! как и Райский ругает себя за то, что смущал Марфиньку. Довольно этих выписок! И без них, кто прочтет сразу оба романа, тот увидит сходство и в идее, и в плане, а может быть, и без моих выписок заметит и подробности.

“Но если, — скажут на это, — Тургенев склонил или его склонили *союзники* передать*[173] то же содержание романа и Ауэрбаху, в “Даче на Рейне”, то, значит, все это происходило с ведома многих свидетелей, следовательно, как же мог Тургенев, и зачем передавал еще французам? Ведь те или другие, рано или поздно, увидели бы эту штуку — и вышло бы не хорошо!” Да, не хорошо. Но знала об этом не публика, а другие, то есть *союзники* его, конечно, не скажут, *как они добывали мой материал*, слушая*[174] и записывая, а секретно и списывая мои тетради. И кто станет вникать в разбор всех этих сличений подробно в двух романах? Тургенев рассчитывал на общее впечатление: найдут сходство — и довольно. Конечно, никому в голову не придет в публике, что франц<узский> автор мог взять готовое у русского автора через Тургенева. Для этого Тургенев так и старался раздуть значение Флобера и у нас, и во Франции.

Тургенев, как он сказал мне, *ничего обо мне французам не говорил* (и это похоже на правду), а вероятно, *передавал просто мой материал*, *как свой*, зорко наблюдая там, чтобы меня как-нибудь не перевели. Когда вдруг задумала меня в 1869 г. переводить газета “Le Nord” *[175] (в Бельгии, должно быть, у него кумовьев не было) и спросили меня, хочу ли я (я уклонился), Тургенев, кажется, страшно взволновался и — как сказывали мне — бросился было из Парижа куда-то уехать[111]. Но узнавши, что я уклонился от перевода, успокоился и поспешил, конечно, оканчивать с Флобером — параллель “Обрыва” в — “Education sentimentale”. Я, конечно, тогда всего этого не знал — и потому и не настаивал на переводе. Да и теперь — я только на днях сделал еще одно открытие в этой интриге.

Именно. Недавно я где-то в фельетоне прочитал, что “Education sentimentale” давно уже известен в русской печати, что даже он переведен в январской и февральской книжках 1870-го года “Вестника Европы” под названием «Французское общество. Education sentimentale”, роман Флобера»[112]. Вот они, передо мной, эти книжки! В свое время я этого романа не читал, то есть тогда, ни в подлиннике, ни в переводе — или лучше сказать — извлечении, потому что в журнале он переведен не целиком, а я таких извлечений терпеть не могу! И вообще с летами я стал читать мало, особенно романов. И теперь, зная роман уже по подлиннику, я развернул его, поглядел и хотел отложить, как взгляд мой случайно упал на последнюю страницу 2-й части этой статьи (“Французское общество”) в февральской книжке — и я вдруг увидел*[176] имя Райского!!

Здесь упоминается о сходстве Фредерика с Райским и говорится, что *Флобер отнесся к своему герою еще объективнее, нежели я*[113]. Еще бы! По готовому писать, да не вышло бы *объективнее*! Значит, Флобер с Тургеневым поправляли меня и переложили на французские нравы. Тут же в предисловии*[177] к переводу романа (в январской книжке), в начале сказано*[178], что Тургенев где-то замечает, что роман “Бовари” — “есть самое замечательнейшее произведение новейшей французской школы![114] Вот как он, по-кошачьи, и обнаружил свои замыслы!

Еще фокус: в той же январской книжке “Вестника Европы”, в корреспонденции из Парижа — опять упомянуто об “Education sentimentale” (стр<аницы> 452 и 453), как о великом произведении![115] Даже приведено в выноске и мнение старухи Жорж Занд, кладущей венок на голову Флобера![116] Припоминаю, что тогда писали и наши доморощенные рецензенты об этом

романе, и между прочим Ларош, который разбирал в “Русском вестнике” и “Обрыв”[117]. Он лично мне очень понравился, этот Герман Августович Ларош, как умный, образованный и любезный человек, хотя, кажется, как и все почти, действовал тоже несколько по наущению против меня!

Но как все они ни взмыливали оба флоберо-тургеневские романа, а романы эти ко вкусу русской публики не пришлись. Прочли, похвалили и забыли: ни слова больше! Точно то же и “Дача на Рейне”: от нее ни у кого не осталось в памяти следа. Я сказал выше, отчего это: от того, что *умом* в произведении искусства нельзя рассказать, а там надо *изобразить*. Но как образы целиком украсть нельзя, надо подделываться под них, а *кисти нет*, и выходят подделки[*179] бледны, и если есть *искры*, то чужие — и в воображении читателя не остаются. Так давай же эту манеру выдавать за *новую школу*!

Мой “Обрыв” вышел годом раньше флоберовского романа “Education sentimentale” — и вот Тургенев с союзниками и навязывают нам всячески — и Ауэрбаха, и Флобера, — чтобы задавить “Обрыв” — и успели!

Немудрено, что Тургенев прослыл у них большим писателем, когда явился к ним с нахватанным добром и раздавал тому, другому, третьему — за свое! и даже помогал обрабатывать, вставлял детали, давал план, подсказывал лица, сцены, — чтобы не доставалось сопернику! И всю жизнь свою почти, около 20 лет, с 1855 по 1875 — положил на это благородное дело! И прослыл там каким-то гением! Чтобы поддержать эту репутацию — он подсказал (*на этот раз*, кажется, уже *свое*) даже и старой Жорж Занд. Она каждый год, и теперь еще, родит роман, и все хуже и хуже, бледнее — и валится с своего высокого пьедестала! Вот она и написала роман “Francia”, где в предисловии (в отдельном издании) говорит, что “большая часть в этом романе сообщена ей Тургеневым”[118]. Боже мой! Какая это ерундища! Русские пришли в 14 году в Париж, тут и казаки, и князь какой-то, и все это смазано какой-то грубой глиной, нескладно, даже нет нигде ее тонкого ума, не говоря уже об изяществе, глубине характеров: ничего! А она, тут же, кстати, похвалила[*180] (за подсказыванье, вероятно) повесть Тургенева “Рудин”, назвав ее admirable![*181]. Так вот как действует Иван Сергеич: не мытьем, что называется, так катаньем! “Nul n’est prophète chez soi”[*182]. Это известно ему — и он решил *прославляться* через иностранцев: приласкался к Жорж Занд, роздал чужое разным литераторам, прослыв за это великим писателем, *главой новой школы*, прислал, между прочим, однажды к Анненкову немецкую статью о себе[*183], а тот проговорился мне и сказал, что не знает, что с ней делать: «Отдай<те> в “Вестник Европы”», — сказал я. Так и сделано[120]. А в другой раз свалился с дрожек в Вене и прислал (конечно сам через кого-нибудь) телеграмму в “СПБ. ведомости”, что упал, расшибся и что “доктора надеются спасти его!”[121] А с ним ничего и не было. Farçeur![*184] Здесь, однако, этому посмеялись: кто-то носил и мне показывал газету в Летнем саду с этим известием. “Посмотрите, какая потеря для России!” — говорил он. А *на мнение* чужих, то есть *иностранцев*, Тургенев[*185] действует *через русскую печать*: “Вот, мол, не думайте, что дома[*186] меня не ставят высоко!” Кто-то в фельетоне “СПБ. ведомостей” (кажется, Суворин) заметил между прочим по поводу юбилеев, что вот-де можно бы дать юбилей “Тургеневу, Гончарову или Некрасову” — и только! Никто этого и не повторил, а Тургенев — бац статью в газетах, что он *благодарит, но не желает принять, что он счастлив и так, если мог*[*187] *быть полезным* и прочее в этом роде, и в заключение просит *все газеты объявить об этом*[122]. И все газеты перепечатали, в том числе и “Journal de St. Pétérsbourg”: стало быть, в Европе будут знать, как Россия, то есть фельетонист, высоко ставит его! Впрочем, он и высоко стоит, но ему этого мало: ему хочется на место Пушкина, Гоголя! “Легкомысленный старик!”

— как справедливо назвал его однажды Салтыков-Щедрин в разговоре со мной! Да и Анненков, давно впрочем, однажды назвал его “седым студентом”! Даже “Голос” в одном фельетоне*[188] справедливо заметил, впрочем, говоря о нем с уважением, что Тургенев и здесь, и за границею ценится высоко, *за границею даже выше*, *нежели у нас*[123]. И это правда — и на это есть причины: они все изложены подробно на этих листах!

Теперь мне к изложению фактической стороны дела остается только прибавить о том, как он отмстил мне за разговор на улице, то есть за то, что я осмелился вполовину приподнять завесу его мнимой *непроницаемости*, в которую он так верит, гордясь ею*[189] и посматривая на других свысока! Он думает, что она безошибочна, что все суть орудия его целей. В слуги он выбирает себе людей или ограниченных, чтобы не разгадали его (как Тютчев[124], Малеин и т. п.), или сближается с такими, которые разделяют его взгляд на нравственность...

— “Ну, хорошо, хорошо: пусть будет так! — с злостью и угрозой в голосе сказал он на мое предложение — не встречаться более. — Пускай!” — И отмстил. *Чтобы ослабить успех* “*Обрыва*”, как я говорил выше, он подсунул*[190] в “Вестник Европы” еще прежде*[191] “Дачу на Рейне” (Стасюлевич мне сам сказал об участии Тургенева), чтобы этот роман печатался рядом с моим и убил мой*[192] и объемом и авторитетом иностранного писателя, а главное — *сходством* с “Обрывом”. Потом пустил около того же времени толки о “Madame Bovary” и наконец и перевод “Education sentimentale” — с своим замечанием, с вышеприведенными критическими заметками Жорж Занд и наконец с печатным намеком на сходство Фредерика с Райским[125]. Теперь же, озлобившись на меня за то, что он угадан, он повторил все это с новою силою — в прошлом 1875 году — в сентябрьской, октябрьской и ноябрьской книжках того же “Вестника Европы” — через одного из членов своего заграничного кружка, Эмиля Золя, называющего себя другом и учеником Флобера. А сам — ни гу-гу, спрятался, нагадив, как кошка!

Вот из этого гнезда ос и потянулся с сентября ряд статей Золя в “Вестнике Европы”, с сентября, сначала чтоб отвести глаза от настоящей тургеневской цели этих статей — просто о парижском обществе (статьи называются “Письма из Парижа”), а в следующем месяце этот Золя (бесспорно даровитейший писатель-романист и умнейший, хотя и пристрастный критик) уже начал в этих “Письмах” говорить о романах братьев Гонкур (Goncourt), во Франции забытых [126], в следующей (кажется, ноябрьской) книжке подобрался и к романам Флобера, будто разбирая их все четыре: “Salammbô”, “Tentation de S. Antoine”, “Madame Bovary” и “Education sentimentale”*[193], а собственно, чтоб разобрать и опять напомнить русской публике два последние, сблизив сходство с “Обрывом” и уничтожив этим*[194] всякое значение “Обрыва”. Это — цель Тургенева, подсказанная Эмилю Золя, может быть, искусно, с обманом последнего на мой счет. “Как мог, — скажут, — Золя верить на слово иностранному писателю и писать, с таким талантом, по чужому внушению?” Не надо забывать о том, какое значение приобрел Тургенев в глазах этих франц<узских> литераторов, если ему удалось (чужим добром) поставить Флобера на высокий пьедестал и *создать там род школы?*

Что он усвоил себе репутацию обильного и содержанием и отделкой писателя — доказывает, между прочим, и то, что, как выше сказано, он наделил и Жорж Занд своей выдумкой! Значит, он у них *колосс* и ему верят на слово!

Озлобившись на меня, вероятно, он решился наконец и франц<узским> литераторам *сказать обо мне*! Но *что он сказал* — вот в этом все и дело! Конечно, отрекомендовал и меня, и мои книги, и мое значение — как только ему могли внушить *зависть*, *злоба* и его неистощимая, гениальная ложь! В этих статьях Золя Тургенев присутствует наполовину! Опять постановлен Флобер на пьедестал гения: но это ничего, и пускай с

ним![127] Но вот что замечательно и понятно одному мне: в подробностях[*195] оценки Флобера, как автора, о его манере работать над своими книгами, о том, как он их пишет, то есть *сначала готовит план, на листках, клочках, записывая мысли, сцены, фразы вразброс*, чтоб не забыть, *как помногу лет обдумывает* — и потом создает целые миры[128]: все это, говорю, выбрано (Тургеневым, конечно) из моих писем к разным лицам (сообщаемых Тургеневу), где я говорил то самое *о себе*, о своей *деятельности*, как я *люблю уединенную жизнь* и прочее, кроме, разумеется, *создания миров* (то есть обширных романов), чего о себе никто не скажет. И все это взято оттуда и надето, как хомут, на этого Флобера! “Вот, знай же, мол, нас, коли ты осмелился проникнуть в мои тайные ходы и ползанья! Все вытащу у тебя и отдам другому!” И в самом деле, все вытащил и отдал!

Стасюлевич помогал ему, частию сознательно, частию нет. Стасюлевич — умный и ловкий человек, приятный в обхождении, и часто веселый, даже остроумный! Мне было всегда хорошо у него: жена его добрая, живая умом и характером, хорошая, честная женщина. Я подружился и с ней — и она, кажется, была искренно дружески расположена ко мне. Это было бы так и до сих пор. Стасюлевич (конечно, передовой,[*196] то есть либрал, libre penseur[*197] в религиозном и других отношениях) с задатками честного человека; у него есть некоторые принципы... При благоприятных обстоятельствах — он, по крайней мере наружно, держится их. Но Тургенев, что называется, обошел его, как леший.

Ему, то есть Тургеневу, всего нужнее, *чтобы я не написал чего-нибудь нового, крупного*, вроде “Обломова”, “Обрыва”. Боже сохрани! Тогда вся его *хитрая механика* рушилась бы не только здесь, в глазах *союзников*, но, пожалуй, и за границею. Поэтому ему необходимо было наблюдать за мной, чтобы ничего не прошло мимо его таможни.

Что бы я ни задумал, о чем бы ни заикнулся, что “вот, мол, хочу писать то или другое”, он сейчас валяет повестцу, статейку на тот же сюжет — и потом скажет, что “это была его мысль, а вот я *живописец* — взял да и нарисовал его сюжет!”

Так я, в одном из писем к гр. А. Толстому что-то говорил о “Короле Лире” (мой взгляд на него)[129], Тургенев вообразил, что я задумываю писать какого-нибудь миниатюрного Лира — и вдруг — бац — повесть “Степной король Лир”, где и *снял* уродливую карикатурную *параллель* с великого произведения, не уважив даже Шекспира, и подвел своих гнуснячков под типы гения! Это чтоб помешать мне: он вообразил, что я, говоря о Лире, хочу мазать тоже копию!

Таким же образом, как я говорил выше, возник ряд его мелочей (“Странная история”, “Стук-стук-стук” и проч.) — все из тех же моих писем, между прочим, кажется и повесть “Пунин и Бабурин”!

Очевидно, он налгал и здесь, и иностранцам, что *он мне* (а *не я ему*) сообщал *сюжеты* — и вдруг бы я написал новое, когда все знают, что мы не видимся с ним! Он, для этой цели, чтобы следить за мной, узнав, что “Обрыв” будет печататься в “Вестнике Европы”, поспешил сблизиться с Стасюлевичем и начал[*198]хлопотать для него. Свел его, как сказано, с Ауэрбахом, позже с Emile Zola, наконец перенес свое перо из “Русск<ого> вест<ника>” в “Вестн<ик> Европы”, словом, отдался corps et äme[*199], что называется, и они снюхались вполне друг с другом, угадав один в другом две сходные во многом (в *гибкости*) натуры.

Я заметил, еще вскоре после “Обрыва”, что Стасюлевич допрашивается искусно у меня о том, что я хочу писать далее. Конечно, я молчал, угадывая его умысел. Поспешаю прибавить однако, что Стасюлевич *тогда* еще не входил во все виды и *расчеты* Тургенева, даже не знал, может быть, их конечной цели и не верил последним вполне, как и многие не верят, потому что Тургенев прячет свою оборотную сторону, как луна[*200]перед землей, не живет здесь, в России, и

потому знают его близко немногие. Тургенев и тут употребил свой маневр, употребленный с успехом с прежними *союзниками*, то есть сказал ему, что *я богат содержанием и художественным обилием фантазии*, что у меня *надо ловить и пользоваться*, а то-де пропадает даром, ибо я лентяй, *собака, лежащая на сене, сам не ем и другим не даю*. Французам Тургенев, конечно, говорит обо мне противное — и там все взял[*201] себе — как видно из его *переделок* "Обрыва" на французские нравы! В этом проговорился мне (см. выше) Стасюлевич — и *начал усиленно наблюдать за мной*, слушать — и когда я рассказал ему *конец* "Обрыва", который хотел было писать, не полагая, что тут можно что-нибудь взять — они взяли и это. У меня в этом предполагавшемся *конце* (который составил бы целую часть, 6-ю) Райский возвращался из-за границы — сначала через Петербург, где встретился бы с Софьей Беловодовой и докончил с ней начатый в I-й части эпизод, потом поехал бы в деревню, там нашел бы Бабушку, окруженную детьми Марфиньки, наконец предполагалось заключить картиной интимного, семейного быта и трудовой жизни — Тушина и Веры, замужем за ним — с окончательным развитием характеров того и другого.

Перед тем я рассказал то же самое в Булони и жене Ф<еоктисто>ва — и вот является повесть какого-то Ремера в "Вестнике Европы" (должно быть, в 1870 или 1871 году, не помню заглавия), где скомкан и сгружен кое-как этот самый материал [*202] для этой моей 6-й части "Обрыва"[130]! Я упрекнул в этом Стасюлевича — и он промолчал на это — и не сказал мне ничего о том, что это за Ремер. Я подозреваю, под этим фактическим или заемным именем едва ли не самого Тургенева.

Я с тех пор стал удаляться от Стасюлевича — несмотря на их обоих с женой усиленные приглашения — видя, что у него с Тургеневым состоялось секретное соглашение[131]. Стасюлевич даже скрывал от меня, что часто видится с Тургеневым во время поездок за границу, а говорил, что видел его мельком, полчаса, и даже отзывался о нем с легкой небрежностью, чтоб отвести мне глаза. Но поздно, я уже все видел.

Это потом дошло до комизма, то есть наблюдение Стасюлевича за моим разговором. Я, конечно, не говорил ни слова, да и нечего было говорить — хотя план у меня в голове был нового романа, но я даже его и в программу не набрасывал. Между тем, как я видел, у них из всех аллюр (allures) Стасюлевича, что Тургенев, конечно, обещал помещать все в "Вестнике Европы" (может быть, еще безденежно), лишь бы он добывал из меня все, что я ни задумываю, а он будет это обработывать и помещать в журнале. Стасюлевичу, конечно, было выгоднее для журнала иметь всякий год повестцу Тургенева — и вообще иметь его постоянным сотрудником, тогда как на меня надежда плоха, да если б я и готовил что-нибудь, так работа у меня протянулась бы на годы: поди — жди! К чести Стасюлевича, я не хочу подозревать, что он знал о секретной цели Тургенева, то есть чтобы мешать мне писать, для прикрытия его *лжи*! Однако ж он выспрашивал затем, чтоб передать ему и получить поскорее от него *повесть*.

Он и старался, чтобы я как можно чаще посещал его, назначил[*203] день в неделю, чтобы быть у него с обеда до ночи[*204] — и чтобы Тургенев знал, что я *там присутствую* и что Стасюлевич не дремлет.

Но я стал бывать реже и реже, и притом ничего о литературе не говорил. Как тут быть? Он, кажется, взял и придумал сам повесть (то есть содержание повести) "Пунин и Бабурин" и послал Тургеневу в Париж этот *свой* план, выдав, конечно, за *мой*. Это я заключаю по тому, что сначала я хотел написать для сборника "Сладчина" (в пользу голодающих самарцев) очерк одного лица из простых людей,[*205] *любителя стихов*, и намекнул об этом кое-кому, между прочим, Стасюлевичу: вот *эдакое* лицо в "Пунине и Бабурине"[*206] и есть[132], а остальное придумал Стасюлевич — и Тургенев поспешил *предупредить меня* и написал этот вздор. Я со

смехом сказал об этом Стасюлевичу — и он тоже не противоречил мне.

Чтобы удалить подозрение, Тургенев печатал кое-что и не в “Вестнике Европы”, именно рассказ на трех страницах эпизода или анекдота из французской революции под заглавием “Наши послали”, а в газете “Неделя”[133] — это чтоб их не подозревали в союзе против меня. Замечательно, что он в статье “Наши послали” подыскивается к либералам, выведя героя-ремесленника из революции, а в “Пунине и Бабурине” — заигрывает с консерваторами — и это в одно время! Теперь, когда я уже совсем не хожу к Стасюлевичу, и когда и он, и Тургенев, оба узнали через своих слуг, что я ничего не пишу и не замышляю, — они уже перестали скрывать этот союз — и Стасюлевич явно передался Тургеневу и действует *против меня за него*, пользуясь, конечно, моею прежнею откровенностью с ним! И конечно, не задумается свидетельствовать против меня. Но все-таки я полагаю, что тут наполовину Тургенев перехитрил и обманул и его на мой и свой счет, сложив как-нибудь вину на меня!

Конечно, лучшее средство для меня доказать всю *ложь* Тургенева и его заимствования у меня — это написать новый, большой роман. Но это невозможно теперь в мои годы (63): нет свежести, нет даже охоты жить, не только писать, а главное, я утомлен этой борьбой, вниканием в интригу и распутыванием всей этой сети — так что нервы мои совершенно расстроены — и я дышу только, когда покоен. Тургенев это знает — и действует все смелее и смелее! Притом я кладу всего себя в свои литературные замыслы и свою жизнь[*207] и близкое, знакомое мне, пишу и страдаю в этой работе, как другие в любви к женщине[*208] и других напряженных страстях. Мне никогда не является одно лицо, одно событие, одна сторона, — а всегда целая область той или другой жизни и множество лиц! Ломка страшная, работа мучительная головы, потом нужно некоторое нервное раздражение — и тогда я начинаю писать запоем, месяц, два, три — и каждый день, как сяду, зараз, к вечеру, хочу всегда кончить все! И утомлюсь, измучаюсь, и потом, кончив, долго, долго не принимаюсь за перо! Вот отчего я так подолгу пишу свои сочинения!

Тургенев это знал — и оттого так следом и шел[*209] за мной по пятам, чтобы я не писал чего-нибудь без его ведома и не обличил его! В разговоре с ним, при встрече на улице, я забыл упомянуть об одном обстоятельстве. Он когда-то, давно, написал какую-то статейку, под заглавием “Довольно”, я забыл ее, да едва ли всю и читал; помню только, что, кажется, в ней главная мысль та, что ему “довольно” писать[134]. При встрече я ему сказал между прочим: “Теперь *моя* очередь сказать — *довольно*!” Я разумел — и то, что довольно мне писать, а ему черпать из меня! Он справлялся не раз, точно ли я не пишу — и подослал летом, в Летний сад, своих прихвостней — выведать, не пишу ли я чего-нибудь? Малеин и Макаров оба гуляли и караулили меня: не подойду ли я? Но я избегал их — и тогда Малеин наконец подошел и заговорил о Тургеневе, а потом спросил, не пишу ли я? — “Нет, не пишу, стар я и устал!” — был мой ответ, который он, конечно, и поспешил сообщить своему принципалу.

И теперь он под рукой обличает меня и — повторяю — сваливает на меня и зависть: “Вот-де я про него, из зависти, распускаю слух о *плагиате*, а сам-де виноват в последнем!”[*210] Этою выдумкою только и можно объяснить, почему *союзники его*, не бывшие свидетелями и *не знающие, как было дело* между им и мной в рассказе ему моего романа, *решились толпой помогать ему добывать мои тетради или слушать меня, записывать и передавать ему*! (Были тут, кроме этой его *лжи, и другие причины этой облавы* на меня: может быть, о них скажу дальше). Правда, ко мне прислушивались — и так как я долго молчал и никакой зависти к Тургеневу не выражал — и после примирения с ним говорил о нем всегда хорошо, то иногда (гр<аф> Толстой[135], как выше сказано, и другие) сомневались в справедливости его извета на меня и будто догадывались и о причинах — но потом, когда уже вышел “Обрыв” и когда я начал

открывать и иностранные подделки под него или *параллели* — я, конечно, не всегда мог сдерживать и омерзение к этой кошачьей хищности, и желание защитить свое! Вот он это мое законное *негодование* и выдавал за *зависть*!

Когда он узнал, что я собираюсь приделывать еще другой *конец* или *хвост* к “Обрыву” — и он сейчас выдумал приделать хвосток или кончик к своему старому рассказу из “Записок охотника”, именно “Чертопханову”, какому-то глупому подобию Дон-Кихота [136], чтобы потом, если б я приделал к “Обрыву” хвост, сказать: “Вот, мол, как он (то есть я) идет по моим следам: что я ни задумаю, он сейчас подражает, следовательно и прежде подражал!” И приделал-таки этот хвост, поместив там же, в “Вестнике Европы”.

Кстати, упомяну здесь, что он[*211] на письмо мое к нему, где я уведомлял его, что роман мой “Обломов” успешно подвигается вперед, отвечал мне из Лондона (не знаю, в 1856 или 1857 году) так: “Охота Вам запрягаться в эту неуклюжую колымагу, русскую литературу!” [137] — Вот как он относился к ней — сам и как отклонял меня!

С французом Courrière уже они явно (“Histoire de la littérature russe”) сказали, что у меня roman pittoresque, immense talent[*212], но что я в “Обрыве” подражаю его “Отцам и детям”, да еще какой-то Наташе в “Рудине”, а я этого “Рудина” не читал никогда — и доселе — и не знаю, что там есть![138]

Вот все, что я мог заметить и запомнить из кошачьих проделок Тургенева, чтобы завоевать себе, и здесь, и за границею, первенствующее положение в литературе! Я, в разговоре на улице, сказал ему прямо об этом: “Вы там, во Франции, выдаете себя за главу, говоря — que la littérature russe — c’est moi![*213] как Людовик XIV!”

Я ручаюсь за правду всех тех фактов, которые произошли между ним и мною, — и ручаюсь своею совестью, что они произошли *так, как они записаны мною здесь*. Но я не могу, конечно, поручиться за справедливость моих *догадок* о том, *как* действовал Тургенев за глаза, стороной. Читатель видит, как я подбирал те или другие ключи, чтобы объяснить себе, например то, *как* и *что* Тургенев говорил обо мне и здешним *союзникам* своим, и заграничным литераторам, *как* он представил им историю своего заимствования, то есть сказал ли всем, что я богат *сырым материалом* и что надо у меня брать и пользоваться, или оболгал меня, сказав, что *он мне, а не я ему* рассказал роман: этого достоверно я, конечно, знать не могу, но догадываюсь, что он делал и то и другое, одним говоря первое, другим второе. Но знать наверное, конечно, не могу, потому что *мне другие не говорили*, я извлекал свои *догадки из последствий*, когда последние уже обнаружились (романы Флобера, Ауэрбаха и др.). *А знаю, повторяю я, и ручаюсь совестью* только за то, что *все, происшедшее между мною и Тургеневым, а также между мною и другими лицами*, здесь упомянутыми, *буквально верно*.

— А кто вас знает, — скажете Вы, неизвестный мне читатель (кому попадутся когда-нибудь, после моей смерти, эти страницы), — кто вас знает! Тургенев тоже скажет или напишет многое в свое оправдание, и пожалуй, напишет еще лучше (так как он умнее и тоньше меня) — как же узнать, кто прав, кто виноват? Обе стороны, конечно[*214], не задумаются *поручиться совестью* за верность: правый, потому что он прав, а лгун — солжет! Но где правда, на которой стороне: вот вопрос![*215]

— Ведь *с собольей шубой* (далее скажете вы, читатель), которую я выше привел в пример, воры поступают и так, как я сказал, то есть распарывают ее на части и делают из нее муфты, воротники, шапки. Или же: наворовав множество муфт, шапок, воротников, соберут их и сделают из них целую шубу?

— Где же правда: кто прав, кто виноват?

— А *вот это именно* (отвечу я) *и подлежит*[*216] *разбирательству и суду третьей*,

беспристрастной и неприкосновенной к делу стороны, следовательно, суду будущего поколения, когда все доводы [*217] и свидетельства обеих сторон будут в виду — и следовательно, правда будет яснее! Я не знаю вообще, как воры делают с шубами, слыхал только, что они большие краденые вещи разбивают на мелкие, а бывает ли наоборот — не знаю. Знаю также (теперь и по опыту), что в литературе из больших вещей таскают по мелочи или подделывают *параллели* к первым! Вот, вы, читатель, и разберите все это! Сообразите, что проще, возможнее и удобнее: взять ли одно что-нибудь большое, целое и цельное, сложное — и растаскать на части, раздробив, размельчив, уменьшив размеры, наделав миниатюр, перефразировав — даже и текст, и наделать таким образом повестей?

Или же — стаскивать в одну кучу — по частям из разных книг, и чужих, и иностранных — и маленькие фигуры превращать в большие, да еще живописать, делать их русскими, народными. Тонкая критика сумеет отличить, где свое, где чужое, кто прав, кто виноват, кто лжет, кто говорит правду: где искусство, тонкость, *хитрость*, *ложь* — и где *простота* и *истина*.

— Станем мы разбирать, как поссорились между собою какие-то два литературные Ивана Иваныча и Ивана Никифоровича: кому охота! Ваши сочинения не стоят *старого ружья и свиньи Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича*! Они и не доживут до будущего поколения. А вы тут обращаетесь к следующему поколению! — скажете Вы.

— Позвольте, позвольте: ведь и в рассказе Гоголя — дело не *в ружье и не в свинье*, а в них самих, то есть *в Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче*, и то не как в двух мелких помещиках, а как в двух *человеках*! От этого ведь вы и интересуетесь ими, а в сущности, что кому за дело до двух маленьких провинциалов: *как и за что* они поссорились? Но Вы, однако, не пренебрегаете этой картиной их нравов и быта, написанной мастером, точно так же как и другими в этом роде, например, “Старосветскими помещиками” и прочими неважными личностями, но все же *людьми*! Стало быть, и в споре и у нас с Тургеневым поучительны и важны не сочинения наши, а нравы нашей эпохи, закулисная литературная сторона, даже полагаю, необходимо для истории беллетристики — вся эта мелкая возня в муравьиной куче! Разъяснение этих мелочей ведет к отысканию *правды*, а *правда*, где бы и в каком бы виде и маленьком деле ни явилась, всегда вносит *свет*, следовательно и улучшение, прогресс в дела человеческие! Но это, полагаю, вы, читатель, знаете и без меня — и конечно лучше меня!

Это — *первая причина*, по которой я вздумал — *с великим отвращением и против своей воли* — изложить всю эту историю на бумаге.

— Зачем же излагаю: *из любви к правде*? — спросит читатель, — и только? Полно, так ли: не о себе ли я хлопочу? Нет — не для одной только *истины*, хотя и одна эта причина достаточна, чтобы приняться за перо. Их несколько: есть и важнее причины.

“*Не для себя ли я хлопочу*?” То есть, вы думаете, не хочу ли я стащить Тургенева с моего места, а себе возвратить похищенное? — Pas si bête! [*218] Я знаю: что с возу упало, то пропало! Для меня все пропало! Нет — я и теперь, при жизни, мало хлопочу о своей литературной репутации, хотя и самолюбив, но как-то странно проявляется мое самолюбие. Когда вдруг меня одобрят — умно, тонко, приятно — я делаюсь точно пьян от удовольствия, а потом это скоро, как хмель, и проходит. Наступит анализ, сомнения, потом нервы упадут и я впадаю в апатию — и ничего мне не нужно! Зачем же мне лезть на пьедестал после смерти?

— «Может быть, ты сам, — скажут далее, — из натасканных воротников, шапок и муфт сшил соболью шубу — и теперь хочешь приписать это другому? Ну, возможно ли, чтобы Тургенев (этот “скромный”, “приличный”, “бархатный”, “тихий”!) передал целый роман, чтобы иностранцы решились писать и т. д.?»

— «Все возможно, — скажу я, — и мне защищать себя, не только против Тургенева, но и

против его союзников, — трудно. Все против меня — et toutes les apparences sont contre moi![*219] Забежали вперед, написали, а мне мешали, может быть, помешают, если б я захотел опять писать, — но все же *правда останется правдой,* как ее ни искази! Мое положение — так сказать — трагическое: все прошлое против меня, а далее писать не могу по летам, по охлаждению, по утомлению, наконец и потому, что *я много написал, даже все, что мне суждено было написать, — две, три эпохи русской,* и своей тоже *жизни* (см. мою статью “Моим критикам”)[139].

Что же мне теперь делать? Терпеть и молчать, конечно: это и есть то, что называется *крест,* следует нести его!»

Далее слышу возражения и вопросы, стоя перед Вашим судом, читатель.

— “Хорошо, пусть будет так; но если ты был так ребячески прост, что сам руками отдал свои мысли, образы и всю картину с рамкой, то делать уже нечего: покорись и молчи. Пусть Тургенев и будет *глава школы,* так как ты сам пустил его вперед, а ты оставайся *подражателем*. Смирись: ведь ты веришь и поклоняешься Христу; и поступи по-христиански, прости и терпи!”

— “Ничего бы я не желал так, как этого! — отвечаю я. — Но ни Тургенев, ни другие не дают мне сделать этого. Пусть он славится *гением, главой школы*, пусть трубят про него! Я молчу, сторонюсь, даже не позволяю издавать вновь своих сочинений[140], стараюсь, прошу, чтоб обо мне не поминали нигде в печати, чтоб только быть покойным и забыть все! Но ему мало того, что сделано; он хочет поставить вопрос так, что если я не напишу ничего, то я и буду подражатель, а так как я не пишу, то он и готовит себе торжество, а меня, благодаря своей лжи и всей этой интриге, разжалует в подражатели и *свалит весь плагиат* на меня. Молчи он, удовольствуйся тем, что сделано, и оставь в покое! И я буду молчать! Тем и кончилось бы! Но он все хочет, как я вижу, доказывать, что не он, а я виноват, а *другие* требуют, чтоб я писал еще!”

Кроме того эти *другие, союзники,* свидетели, все те, кто впутался и кто введен в обман, — кажется мне, как я замечаю — будто требуют или ждут моего ответа, объяснения, точно удивляются, что молчу, даже намекнули мне довольно ясно, чтобы я, *хоть после себя, оставил записки,* объяснил... А между тем, мне *ничего определительного не говорят* о том, *как и что* говорит Тургенев, как сваливает на мою голову свою зависть и ложь — и я хожу в лесу догадок, ощупью. От этого, как видит читатель, я и беру то ту, то другую догадку, выбирая их из загадочного обращения ко мне многих лиц.

Только из встречи Тургенева на улице весной 1874 года от него самого я услыхал, что он силится себя поставить передовым, а меня подражателем его, когда я заметил ему, что *он ставит ноги в мои следы*. А больше ни от кого! Да вот на днях, как выше сказал, я только увидел в “Вест<нике> Европы”, *на последней странице* перевода “Education sentimentale”, что другие давно заметили сходство героя этого романа с моим Райским. А мне не говорят, читаю я мало, между тем чего-то от меня требуют, хотят!

Вот это — *вторая* причина, заставившая меня писать эту печальную летопись! То есть, чтобы не дать себя обвинить фальшиво, безапелляционно. Я с болью и горем вижу, что мне как будто велят подать и мой голос.

И я подаю. “Audiatur et altera pars”[*220].

Тургенев, конечно, и скажет и напишет много за себя: пусть же судят нас другие и извлекают из этого суда поучительный пример!

Хотя “мертвии срама не имут”[142], но я не желаю все-таки взять на себя перед будущим поколением бремя чужого стыда и зависти! У меня довольно и своих пороков!

“Оба хороши!” — скажут непременно судьи — и будут правы. Но оба — в своем роде! Я

его *рода* на себя не возьму! Впрочем, если б только оставили меня в покое, я — пожалуй — махнул бы рукой и *на правду* и на суд *поколений*, потому что, если не доберутся до моей *правды* и будут называть меня похитителем и лгуном и обвинят в *клевете* на другого — прах мой не смутится от этого! Это докажет только, что правда не всегда торжествует над ложью.

Я знаю, что я наказан за *небрежность* к своему таланту, за лень вообще, за праздношатание в молодости, вместо того, чтобы учиться и писать (ведь и все у нас так воспитывались, учились, росли и жили, как я, что я и старался показать в “обломовщине”), и за многое другое, словом, *за закапывание таланта* (который даже мало сознавал в себе и мало доверял ему) — другой откопал, сам взял, унес за границу, поделился с другими — и вышла *новая школа*! Поди ж ты!

— “Какая претензия! — завопят судьи. — Ты воображаешь себя каким-то Диккенсом, Бальзаком, даже, пожалуй, Флобером, *великим* Флобером!”

— «Ничего не воображаю, — говорю я. — А теперь вижу ясно по всему, что сделал Тургенев и что из этого вышло, именно: *если б я не пересказал своего “Обрыва” целиком и подробно Тургеневу, то не было бы на свете ни “Дворянского гнезда”, “Накануне”, “Отцов и детей” и “Дыма”*— в нашей литературе, и ни *“Дачи на Рейне” в немецкой и “Madame Bovary” и “Education sentimentale” — во французской* — и, может быть, *многих других произведений*, которых я не читал и не знаю.

Вон недавно появилась в переводе в “Вестнике Европы” “Germinie La-certeux”[*221], соч. Гонкура: это страх похоже на развитие развратной Марины в “Обрыве”. Но я уже об этом ничего не говорю. Тип один и тот же — значит, из семян, брошенных в “Обрыве”, выросло много — но часть этого всего Тургенев перенес на франц<узскую> почву! И подсовывает Стасюлевичу, напоминает, что все-де это уже у французов есть!

Это верно — как Бог свят!»

— “Значит, и прекрасно (скажете Вы, читатель): тем лучше! И ты (то есть я) хорошо сделал, что выболтал Тургеневу свой громоздкий роман, как хорошо и он сделал, что поделился и что все это дало новый толчок французской литературе[*222] в беллетристике!”

— “Да, пожалуй, оно так, — я соглашусь. — Я даже был бы очень счастлив и примирился бы вполне с своим положением, если б дело выяснилось таким образом, то есть чтоб меня очистили, оправдали, а славу, то есть заслугу труда, уменья воспользоваться, приложить к делу мой материал, осмыслив и обработав его, взяли себе другие, а с этим и весь шум, торжество! Бог с ними! Лишь бы оставили мне мою *правду*, то есть что они *черпали из меня, а не я из них*! Нет, вон Тургеневу хочется взять всю инициативу себе, а подозрение в своей вине обратить на меня. Последнего я, конечно, не желаю!”

— «Да ведь и Шекспир, и Пушкин, и Гоголь, — скажут мне, — делали то же самое, что сделал Тургенев, то есть брали у бездарных или мало даровитых писателей (как Шекспир, например, взял у кого-то из своих товарищей сюжет “Лира”), потом он, а за ним Пушкин почерпали из легенд, летописей, предания, и Байрон делал то же; Гоголю, говорят, Пушкин дал сюжет “Мертвых душ”!»

— «Все это так, — отвечу я, — и эти великие мастера делали из взятого материала[*223] великие произведения, вдыхая в них свою творческую силу, и притом уж, конечно, ни чужой манеры, ни чужих картин и сцен не брали! Если они брали у других что-нибудь, так знали сами, как делать! А Иван Сергеевич — взял, например, мою старуху — Бабушку из “Обрыва” — и дважды повторил ее — в “Дворянском гнезде” и в “Отцах и детях”; и не я сам, а все мне почти ежедневно твердят о моей старухе как о живом, характеристическом

образе, решительно все — и никогда никто не говорит о старухах Тургенева! Из Райского — у него вышел отчасти Паншин, отчасти Лаврецкий — и оба бледны. “Художник, творящий *образы* не фантазией, а *умом*!”, как Тургенев, по словам Courrièr’а. Что за вздор! А я, слышь, *сердцем*! Но ведь образы мои, если я *живописец*, как они говорят, и высказывают вместе и идеи: это и значит “художник”! В верном образе есть непременно и *ум*[*224], потому что образ непременно говорит собою какую-нибудь мысль, изображая ли эпоху, нравы и т. д. А если к этому еще и сердце — так, значит, есть и все. Так, стало быть, Тургенев переделывает не по-шекспировски, не по-пушкински и не по-гоголевски, а по-тургеневски, миниатюрно, и не создает, а сочиняет, то есть подведет маленьких человечков, едва намеченных, под большие фигуры, да сняв ниткой мерку с плана, разобьет по этому и скудную фабулу, а чего не сможет дорисовать, то доскажет *умом*, например, в “Дыме” (в разговоре Потугина с Литвиновым) досказывается то, что говорится между Райским, Волоховым и Козловым — в “Обрыве”, так же как это отчасти повторяется потом в “Education sentimentale”».

— «Но победа все-таки на его стороне, — скажете Вы, — и “Дым”, и “Отцы и дети” вышли задолго до “Обрыва” — и вот только “Дача на Рейне”, да “Education sentimentale” вышли: один — вместе с “Обрывом”, а другой — после!»

— «Да, ловко подделано — и мне делать нечего, а заявить свой голос все-таки необходимо. Пусть судят другие! Зачем? На это я отвечу вопросом: “Если все, что записано здесь, случилось буквально так, как записано, надо ли было писать, или не надо?”»

Я кончил этот мелкий анализ[*225] и перейду к синтезу вообще этого дела.

Я сказал, что кроме двух *причин*, побуждающих меня написать эту жалкую историю, то есть 1) естественного желания[*226] *оградить себя от лжи и осветить правду* в этой длинной и тонкой интриге — и потом[*227] 2) *обязанности*, возлагаемой на меня другими — *подать и свой голос* в распускаемых против меня обвинениях, — у меня есть причины важнее. Чтобы придти к ним, мне нужно обнаружить, как я вижу и ясно понимаю их теперь, то есть истинные причины постоянного пребывания Тургенева за границею. Он и до 1855 года жил там подолгу. Он мне рассказывал, что мать мало давала ему денег, что он молодым человеком уехал в Париж[*228] и жил там у Виардо и денег не имел; со смехом[*229] рассказывал, что он прожил в их отсутствие без них целый сезон на их даче и “*съел у них весь огород*”, потому что не было денег. *Я познакомился с Тургеневым в конце 1846-го или вернее в начале 1847-го года*, когда печатал свою “Обыкновенную историю”, а до тех пор никогда его не видал[144]. Потом, с 1855 года стали уже всех отпускать за границу, и Тургенев, как я сказал прежде, почти выселился туда, приезжая по временам то в Петербург, то в свое имение.

1-я причина этого удаления из России была объявляема им во всеуслышание: *это симпатии его к семейству Виардо*... Я не вхожу в разбор этой причины, насколько она справедлива — это сюда не относится. Замечу только, что он с видимым удовольствием, рисовался перед нами этим своим отношением дружбы к знаменитой певице. Это его хорошо ставило, придавало более *шику* его известности! Туда же он увез и свою побочную дочь от крепостной своей женщины, там воспитывал ее, выдал замуж, — рисуясь и этим делом в кругу приятелей[145]!

2-я причина — это — положительно *опасение быть здесь разгаданным вполне*. Его напускная простота, мягкость, ласковость ко всем, кошачьи бархатные манеры — и скрывающаяся под этим ядовитость, скрытность, тонкие расчеты, эгоизм и самолюбие, притворство, фальшивость, рядом с fatuité[*230] франтовства, с желанием стать львом[*231] и главой среди литераторов — все это обнаружилось бы года в два, три, если б он сряду прожил их здесь. Его уже некоторые проникли вполне: замечали его непрерывную, мелкую ложь в пустяках, мелькала хлестаковщина, что-то странное, фальшивое. Дудышкин знал его тонко, Белинский

тоже иногда подтрунивал собственно над некоторыми его чертами, между прочим, каким-то виляньем. Но все это, как лаком, покрывалось его псевдодобродушной манерой, репутацией таланта, щедро рассыпаемым ко всем дружелюбием, приемами у себя, обедами — наконец умом и всегда приятным разговором. Но все-таки натура его прорывалась, и он убегал за границу*232. Была у него какая-то история с Некрасовым: сначала теснейшая дружба, потом разрыв — и Некрасов часто жаловался*233 на него за его последующий образ поступков, собирался писать записку, обнаружить какие-то его письма и т. д.[146] С графом Львом Толстым тоже была история и разрыв[147]. Потом, когда Тургенев перессорился опять и со мной и увидел, что ему приходится заручиться союзом с Стасюлевичем, а я стал последнего*234 избегать, и наконец предложил самому Тургеневу*235 разойтись, он бросился в Москву *мириться с гр<афом> Львом Толстым* и сошелся опять (как мне сказывали), после долгого разрыва, чтобы наконец все эти разрывы с тем, с другим и третьим — не повели к невыгодному*236 заключению о нем самом.

В Париже и в Карлсбаде Тургенев старался сблизиться покороче с графом Алексеем Толстым, умершим в ноябре прошлого года[148]. И он, то есть Тургенев, и Стасюлевич — оба волочились там за ним и, по смерти его, протрубили себя “его друзьями”! Граф был любезен со всеми, но разумел их обоих про себя, как следует, как по отношениям Тургенева ко мне, так и по подвижному (туда и сюда) характеру Стасюлевича. Когда драма “Смерть Иоанна Грозного” давалась в Веймаре на театре в немецком переводе, Тургенев поспешил мне написать с видимым удовольствием, что “пиеса никакого успеха не имела, даже ни — succès d’estime!”*237 А как он умер, так оба примазались в друзья к нему, потому что провели лето в Карлсбаде и что граф печатал последние свои сочинения у Стасюлевича в журнале. “Граф известен-де как честный человек и не стал бы сходиться близко, если б мы были”... Верно!

За границей он живет, конечно, осторожно, тихо, на положении чужестранца — и вполне себя не обнаруживает. И так он носит две маски! Если здесь ему неудобно, начинают всматриваться в него — он уезжает в Париж.

3-я и *главная причина* — это его *литературные цели*. Она явилась в 1855-году, *когда я из своей сумы переложил в его суму все свое добро, то есть пересказал ему свой “Обрыв”*. Ему нечего было писать: “Записки охотника” начинали приедаться, от него требовали крупного произведения. Он, повторяю, ссылался на боль в мочевом пузыре, от климата будто бы парижского, мешающего писать, — и писал все мелкие, но прелестные миниатюры, отлично отделанные, с искрами поэзии, особенно когда дело шло о деревне, о природе вообще и о простых людях! Это дорогие фарфоровые чашки, табакерки с драгоценною миниатюрною живописью! Больше писать было нечего. Вдруг свалился целый клад, и притом не только материал, но и готовые характеры, сцены — все, даже с манерою писать! Это, как я вижу теперь, и *было главным его побуждением мало-помалу переселиться в Париж*, куда он стал*238 переводить, продавая по частям, свое имение (*реализировать*, как мне сказывал Анненков) и вместе и взятую у меня литературную движимость. Прежде он скрывал*239 там свое литературное бессилие от нас, а потом унес туда чужую силу и выдал за свою, дав этому, вероятно, такой смысл, что “в России-де нет людей, все грубо, невежественно и не с кем делиться этими сокровищами — не поймут!” Этой маской он прикрыл, как хвостом, чужой клад и свое самозванство!

А может быть — представить дело и так, что боится, чтоб там, дома, у *него* не украли — кто его знает! Взять все одному, целиком, здесь ему уже было нельзя, так как я (что видно и из его письма ко мне) рассказывал повторительно многие места из романа ему — при свидетелях:

Дудышкине, Дружинине, Боткине (так что однажды, при каком-то чтении или рассказе своей повести Тургеневым Дружинину, последний заметил ему об одном месте, что “это есть уже у Гончарова”). И кроме их, я мог рассказать и уже рассказывал и еще кому-нибудь, между прочим, Никитенке с семейством — и когда начал его писать, разные лица мне переписывали его, — то он, зная уже, что после “Обыкновенной истории”, наделавшей шуму, у меня готов “Обломов”, следовательно его “Записки охотника”, пожалуй, не перебьют мне дороги, особенно если я выйду потом с “Обрывом”, а у него — ничего, — он и стал разбивать рассказанный роман на части — и одно взял себе, другое роздал! Здесь, в России, ничего этого сделать было нельзя, то есть раздать своим — и некому: если выйдет дрянь, то никакого подрыва [*240] мне не будет, а склонить талант посильнее — невозможно! Обнаружилось бы в нашей литературе тотчас — и он осветился бы весь и провалился! Да порядочные люди и не взяли бы себе чужого: надо бы было как-нибудь *оболгать* меня, а этого дома сделать нельзя: меня знали все — и ложь выплыла бы тотчас наружу!

Он уехал в Париж и там, в гнезде литераторов, окружил себя Гонкурами, Флоберами и еще не знаю кем, наделил их подробно рассказанными ему мною теми *эпизодами и характерами, которых не взял сам* — и таким образом — вырос там в колосса и стал их учителем и руководителем, объяснив им значение натуральной школы [*241] начиная с Гоголя и умалчивая о прочих, кроме себя.

Конечно, он запретил им даже и упоминать о себе — и вот *как и почему* в 1857 или 1858 году вышла в свет “Madame Bovary”, написанная с новою и небывалою во французской литературе до тех пор простотою содержания, манеры, плана [*242]. Но это была вещь, чисто подсказанная по готовому. А другие, истинно талантливые французы, как Эмиль Золя, А. Доде и другие — поняли [*243] и значение нашей натуральной школы и стали самостоятельно на этот новый для них путь. Собственно, Тургенев был их учителем, то есть молодых начинающих писателей там — и оттого приобрел там значение. А через 23 года — явился, наконец (вскоре [*244] после “Обрыва”) и весь сколок с моего Райского в “Education sentimentale”, с похожей обстановкой. Братьев Гонкуров, о которых трубит Emile Zola в “Вестн<ике> Европы”, рядом с Флобером — я не читал (недавно прочел кое-что, но немного), а из разбора Золя вижу [*245] (и у Гонкуров или у других, если есть) — близость сходства с натуральной школой заключается более в психологических характерах, отчасти в фабуле [*246], а не во внешних приемах.

Должно быть, Тургенев ужаснулся от рассказа ему моего романа [*247] и счел меня за колоссальный талант (чего я, конечно, сам в себе не находил), что *полжизни положил на то, чтоб все это перевести к чужим и самому построить себе пьедестал*. Вот главные его причины переселения за границу!

Теперь перехожу к *причине, тоже главной*, заставляющей меня писать эту летопись.

Из всего этого видно (мне, по крайней мере, ясно и несомненно), что Тургенев удалился отсюда по мелким, эгоистическим и неблаговидным причинам. А он, конечно, приводит другие.

Он надевает львиную шкуру, [*248] рисуется недовольным Россиею, добровольным переселенцем. У него где-то в печати есть фраза: “Увидев, что у нас (то есть в России) делается, я бросился головой (или “с головой”) в немецкий океан” — что-то в этом роде[150]. То есть в океан западной науки, свободомыслия и свобододействия, [*249] в мир искусства, идей, здравых, гуманных начал, бежал от мрака, гнета и узкости наших убеждений, чувств, понятий, чтобы жить и действовать во имя человечества, и т. д. и т. д.!

Словом — вслед Герцен<а> с Огаревым и других жаждущих свободы, искренних

эмигрантов, космополитов! Все это вздор, ложь![*250]

Он *бросился в немецкий океан* совсем не оттого, что ему тошно стало в России. А во Франции ему живется привольно в кругу лиц, которые его не могут, как иностранца, узнать вполне, и он прячет свои потаенные[*251] стороны от них, как прячет их от нас за границею!

Космополиты говорят или думают так: “Мы не признаем узких начал национальности, патриотизма, мы признаем человечество и работаем во имя его блага, а не той или другой нации! Вы, русские, сидите там с своим православием, самодержавием и народностью — и досидитесь до того под гнетом эти трех начал, что вас со всех сторон, как море,[*252] окружат и потопят просветившиеся, свободные, развившиеся люди, все соединенное человечество, без всяких ярлыков наций, религий, правлений! Вон уже, говорят они, Япония просвещается, Китай шевелится, с Запада грозят новые идеи, пушки и колоссальные капиталы. Англия и Америка подают всем пример народной самодеятельности и самоуправления — и распространят этот пример по всем частям света! А вы еще все в детстве — все спрашиваетесь папеньки да маменьки, нужды нет, что никакая, самая крупная наседка не может спрятать под крылья и пары годовалых цыплят! А вы все сидите под крыльями, хотя ноги и руки лезут вон, но вы прячете голову! А тут-де англо-саксонские расы — англичан, американцев, немцев да живой подвижной дух и ум французов обойдут и преобразят весь мир, вольный мир вольных, всемогущих людей, целое человечество и задавят вас! А вы еще не смеете даже думать и говорить вслух, ни двигаться свободно, в вас подавлен ум, дух, мысль, воля — нет у вас ни науки, ни искусства, ни свободного даже ремесла, нет, стало быть, самодеятельности, все ваши хваленые народные силы и способности пропадают даром, подавленные угодничеством, произволом, страхом, детскою болезнью — и доселе за вас и для вас все делают иностранцы, учат, лечат вас, снабжают всяким, и духовным, и материальным добром! Вы бедны, жалки, бессильны, вы — младенцы и рабы! Мы — уйдем от вас и будем жить с человечеством и для человечества!”

Вот вкратце, сжато — космополитическая точка зрения! Не знаю, есть ли в этой широкой мечте о будущем, когда все народы сольются в одну семью — и не будет ни национальностей, ни патриотизма, а только одна братская общая любовь к ближнему — есть ли в ней какая-нибудь доля справедливости (не мне, “узкому патриоту”, судить о том!)

Но зато тут есть огромный софизм!

Никто и ни в какой нации не может взять на себя применения этой идеи к делу, хотя бы даже у этой идеи и была видна в перспективе такая будущность! Так точно, как никакой солдат, с каким-нибудь своим особенным ультра-философским и свободным взглядом на войну, — не может перебежать из своих рядов к неприятелю, не обесчестив себя! Гражданин нации, кто бы он ни был, есть ни что иное, как ее единица, солдат в рядах — и один за целую, развитую нацию отвечать и решать не может! Пусть он в теории, путем философии и других наук, делает выводы, строит доктрины, но он обязан служить злобе дня, данному моменту в текущей жизни. Если бы все народы и слились[*253] когда-нибудь в общую массу человечества, с уничтожением наций, языков,[*254] правлений и т. д., так это, конечно, после того, когда каждый из них сделает весь свой вклад в общую кассу человечества: вклад своих совокупных национальных сил — ума, творчества духа и воли! Каждая нация рождается, живет и вносит свои силы и работу в общую человеческую массу, изживает свой период и исчезает, оставив свой неизгладимый след! Чем глубже этот след, тем более народ исполнил свой долг перед человечеством!

Поэтому всякий отщепенец от своего народа и своей почвы, своего дела у себя, от своей земли и сограждан — есть преступник даже и с космополитической точки зрения! Он[*255] то же, что беглый солдат! Вот почему патриотизм — не только высокое, священное и т. д. чувство и

долг, но он есть — и практический принцип, который должен быть присущ, как религия, как честность, как руководство гражданской деятельности, — каждому члену благоустроенного общества, народа, государства! Надо прежде делать для своего народа, потом для человечества и во имя человечества![*256]

Все возвышенные, святые, чистые и т. д. идеалы суть ни что иное, как зародыши идей, а идеи, в свою очередь, суть предтечи[*257] правил, обращающихся в житейские практические начала! А если[*258] еще эта утопия об общем человечестве никогда не состоится, а будут бесконечно одни народы сменять других — и все про себя, и у себя работать, и для себя и для человечества вместе — и так до конца века? Тогда уже эти добровольные эмиграции Бог знает как назвать!

Всем известно, что такое Герцен и подобные ему (да много ли таких?) — ушедшие от угроз, от страха беды, к большей свободе!![*259] Герцен — не упуская этой космополитической идеи из вида, действовал все-таки для России и, горячо любя ее, язвил ее недостатки, спорил с правительством, выражал те или другие требования в ее пользу, громил злоупотребления — и нет сомнения, был во многом полезен России, открывал нам глаза на самих себя. Он ушел, потому что здесь этого ничего он не мог бы делать!

Ивану Сергеичу особенных бед не угрожало — цензура теснила и всех нас (и многое другое), всем бывало жутко, несвободно, потом стало легче. Я не говорю, чтобы все должны были непременно хоть умирать, да оставаться в отечестве — *из квасного патриотизма* — нет, почему и не уехать, если есть средства и если живется за границей хорошо, а здесь в личном присутствии надобности нет? Я только осмеливаюсь проникать в таинственную причину Тургенева (независимую от его личных симпатий во Франции), побудившую его почти совсем переселиться во Францию и потом играть какого-то брезгливого господина, которому не с кем жить в здешней среде! В этой фразе: “Посмотревши, что делается у нас, я бросился в немецкий океан” — не досказана целая половина, вот какая:

“Добывши себе на весь свой век литературный капитал, чтоб распорядиться им и помешать соотечественнику и сопернику, я должен распространить, кроме того, что взято самим собой, между немецкими и французскими литераторами остальное, создать там школу, стать во главе ее, не давать переводить на французский язык соперника, быть представителем русской литературы за границей — и через тамошние трубы прославиться и у себя, став на место Пушкина, Гоголя и уничтожить Гончарова с его романами, растаскав их по клочкам!” Вот его мысль, цель и побуждение! Этого иначе и не могло быть сделано, как за границею! А здесь иметь постоянно кумовьев (Стасюлевича, <Н. Н.> Тютчева)[*260], прихвостней, разевающих рот перед гениями, вроде Малеина, Макарова — и укрывать свой характер и свойства от зорких глаз вдалеке! А при свидании актерствовать, разыгрывая и друга, и патриота,[*261] словом, все что понадобится. Вот какой[*262] космополитизм у Тургенева! Кто вглядится и вслушается попристальнее в него, в его[*263] намеки, и на словах, и печатно, тот же может не заметить какой-то гадливости или брезгливости[*264] к русскому житью-бытью, нравам — словом, к русской жизни, какая встречается у передовых людей. Конечно, и нельзя требовать быть квасным патриотом и любить уродливости, но дело в том, что *едва ли все сделанное им самим не гаже всего того, над чем он так холодно скалит зубы* втихомолку — а иногда и явно, как в “Дыме”, например. Под его космополитизмом[*265] кроются маленькие, узенькие, нехорошие цели!

Как ни маловажна потеря моих трудов для русской литературы, то есть значения моих романов, а все же отнятие и этого значения у русского писателя и перенесение его в иностранную — *не может,* я полагаю, *быть прощено* (не мною, конечно!) ни Тургеневу, ни тем, кто ему в этом помогал! Русское слово и так небогато — и отнимать у него что бы ни было

— большой грех, измена! К этому надо прибавить и то несомненное предположение, *как он* должен был, став сам в фальшивое положение против русской литературы и поставив в него других, рекомендовать там, в литературном кружке, современную русскую литературу! Конечно, как ничтожную, не стоющую серьезного внимания — и при этом, разумеется, выгородил себя: “Не стоит-де там жить, никого нет”, и вот он уехал туда, где свет, искусство, жизнь! А у нас там татары или “Япония”, по словам одного из братьев Гонкуров (“La Russie — c’est le Japon!”*[266], сказанным Григоровичу, которого познакомил с ними Тургенев и который мне передал это! Кто подшепнул такое понятие и отзыв о России! Тот конечно, кто вытащил из этой литературы, что мог и чего не было у французов, и удрал туда! Что и как должен он был говорить и обо мне, например, Ауэрбаху, а теперь и французам, раздавая мое добро!

Поэтому я и записал все, *как было дело между ним и мной*. А там судите, как хотите!

Употребления из этих листов — я и сам не предвижу. И не хотелось бы мне — если можно, чтоб дело дошло до того! В конце этой рукописи я приложу *примечание*, где и скажу, *при каком условии и в каком только крайнем случае* может быть сделано какое-нибудь употребление из нее![151] Надеюсь, что воля умершего будет свято исполнена, особенно если* посмертное желание его клонится к тому, чтобы избежать необходимости вредить, хотя бы и защищая себя, другому, нужды нет, что он заслужил это!

Теперь о том, *кто, что, как и почему* способствовал Тургеневу во всех этих его проделках. Ему одному этого всего, повторяю, сделать бы не удалось. Если б ему не сообщали читанных мною, по мере того, как я писал, разным лицам глав из “Обрыва” — у него не было бы ни “Отцов и детей”, ни “Дыма”, не было бы и “Дачи на Рейне”, но может быть — было бы “Education sentimentale”, который очевидно писан *по готовому в печати* “Обрыву”. Это чистая *параллель*, почти копия: оставалось только рядить действующие лица во французские кафтаны и т. д.

Кто же помогал ему против меня, *за что* и *зачем*? Вполне и подробно до сих пор *не знаю*, и только недавно, в последние *два-три* года многое угадываю — но не все! Скажу кое-что, что вижу и понимаю. Остальное доскажут, если не теперь, то со временем другие, именно, частию виновники, участники (*союзники*), частию свидетели.

Ни для кого из нас, не только литераторов, но и в публике не было тайною, что за ними, то есть за литераторами, правительство наблюдает особенно зорко. Говорят даже, что в Ш-м Отделении есть и своего рода “Книга живота”, где по алфавиту ведутся их кондуитные списки[152]. За ними наблюдают, что они делают, где, у кого собираются, о чем говорят, кто какого образа мыслей, какого направления. Следили за личностями литераторов потому, что по журналам и книгам, благодаря цензуре, наблюсти ничего было нельзя. Да и сами наблюдатели, вроде князей Орловых, Долгоруких, Дубельтов и прочих генералов, неглупых и, может быть, очень умных в своем роде, не были довольно литературно развиты и знакомы с развитием современной мысли в Европе и вообще с настроением умов у нас и т. п. — и судили* о настроении умов больше по длинным волосам, по ношению усов и бород, по покрою платья — и по этому старались узнавать либералов. Поэтому и ловили, кто что говорит, и всего более, кто читает запрещенные книги. А таких книг была масса: о Прудоне говорили втихомолку, запрещали Маколея, Минье, даже, кажется, Гизо! Я посещал кружок Белинского (как выше сказал), где, хотя втихомолку, но говорили обо всем, как говорят и теперь, либерально, бранили крутые меры. Белинский увлекался всем новым, когда в этом новом была искра чего-нибудь умного, светлого, идея добра, правды — и не скрывал конечно этого от нас, а из нас иные, например Панаев, трубил это во всеуслышание!

Его — то есть всех, значит, посещавших Белинского, слушало правительство и знало,

конечно, каждого. Я разделял во многом образ мыслей относительно, например, свободы крестьян, лучших мер к просвещению общества и народа, о вреде всякого рода стеснений и ограничений для развития и т. д. Но никогда не увлекался*269 юношескими утопиями*270 в социальном духе идеального равенства, братства и т. д., чем волновались молодые умы. Я не давал веры ни материализму — и всему тому, что*271 из него любили выводить — будто бы прекрасного в будущем для человечества. К власти я относился всегда так, как относится большинство русского общества — но конечно, лицемерно никогда не поддерживал произвола, крутых мер и т. п.

Этого не могли не знать — и как я теперь соображаю — вполне отличали эту умеренность (я уж был не мальчик, лет 36) и конечно на мой счет были совершенно покойны, так точно, как и я жил покойно, не боясь никакого за собой наблюдения. Когда замечен был мой талант — и я, вслед за первым опытом, весь погрузился в свои художественно-литературные планы, — у меня было одно стремление жить уединенно, про себя. Я же с детства, как нервозный человек, не любил толпы, шума, новых лиц! Моей мечтой была (не молчалинская, а горацианская) умеренность[153], кусок независимого хлеба, перо и тесный кружок самых близких приятелей. Это впоследствии назвали во мне “обломовщиной”.

Но более всего любил я перо. Писать было моей страстью. Но я служил — по необходимости (да еще потом цензором, Господи прости!), ездил вокруг света — и кроме пера, должен был заботиться о добывании содержания! Все это отвлекало меня — от моего пера и от моего угла!

К о н е ч н о , *ультра-консервативная партия*, занимавшая важные посты в администрации,*272 наблюдая и за мной, не могла не видеть, что я не способен ни увлекаться юношески новизной допьяна, крайними идеями прогресса, ни пятиться боязливо от прогресса назад — словом, что я более нормальный по времени человек!

С 1855 года начался ряд реформ — и я, конечно, рукоплескал им и теперь благословляю руку, совершившую их! Но как я жил в тесном кругу, обращался часто с литераторами и с одними ими, и сам принадлежал к их числу, то, конечно, мне лучше и ближе видно было то, что совершалось в литературе: *как* мысли о свободе проводились здесь и в Москве Белинским, Герценом, Грановским и всеми литературными силами совокупно, проникали через журналы в общество, в массу, как расходились и развивались эти добрые семена и издалека приготовляли почву для реформы, то есть *как* литература с своей стороны облегчила для власти совершение первой великой реформы: освобождение крестьян, приготовив умы, пристыдив крепостников, распространив понятия о правах человека и т. п.

Все это я видел, будучи внизу, и конечно неоднократно выражал мысль, что литература сослужила верную службу царю и России.

Заслуга, конечно, принадлежит Преобразователю[154]: ибо без него десять литератур не сделали бы ничего! Еще император Николай Павлович, не читавший конечно ни Белинского, ни Герцена, ни Грановского, как слышно было, созвал некоторых предводителей дворянства и поверил им свою мысль об освобождении[155]. Франц<узская> революция 1848 г. не дала ей распространиться — и царствование Александра II стало второю, великою преобразовательною эпохою (после Петра). Он ее творец!

Это было всегда моею мыслию — и я поклонялся великой фигуре современного героя, который*273наполнил свой век — не военного славою, идя вслед другим, а славою мира, на охранение которого и посвятил свою жизнь, свое царствование и все силы России! А потом — суды, свобода печати, земство! Другим стало бы этого на десять царствований! Он сделал это

один — и Россия благословила его! Мне никогда не было — ни случая, ни возможности и не представлялось необходимости — говорить об этом нигде печатно! *[274] Да и нужны ли бы были этому колоссу наши пигмеевские похвалы или порицания? Все это было так высоко и далеко от меня!

Но как о литературной маленькой заслуге, то есть о некотором влиянии ее на умы — было мною высказываемо не раз — то вот это умолчание (как будто умышленное!) о великих делах на вершине*[275], мне невидной и недоступной, и было, как я потом соображал, истолковано угодливыми наблюдателями за мной, как нечто вроде протеста, что ли, чуть не бунта, и поставлено мне в вину консервативною партиею![156]

Между прочим, однажды А. Г. Тройницкий, товарищ министра в<нутренних> д<ел>, мой хороший знакомый, сказал мне, когда я читал свое предположенное, но не напечатанное "Предисловие" к отдельному изданию "Обрыва", что "я слишком хвалю Белинского и литературу и приписываю много чести его влиянию на умы!" А я там действительно подробно обозначил, *чем* и *как* помогала литература и статьи Белинского правительству[157], не говоря, конечно, о последнем, которому принадлежит и инициатива и вся слава самой реформы! Мне и не нужно и не кстати было бы говорить об этом! Так вот — зачем я не сунулся с своим пером и туда, где ничего бы и не сумел достойно сказать!

Кроме того, я в сочинениях своих и в разговорах — почти*[276] не говорил о так называемом "высшем классе": это по простой причине. *Я его вовсе не знал* и не видал никогда.

У меня было настолько житейской мудрости и самолюбия тоже, чтобы не лезть туда, куда меня не призывало — ни мое рождение, ни денежные средства. Вон консерваторы хвалят Англию за то, что там-де всякий знает свое место — и что это очень хорошо! Лорд — так лорд и есть, *все его* и признают таким, купец так купец, художник и литератор знают свою среду и проч.

Так я и делал, следовательно, делал хорошо, да к тому же — я и нервозен, робок и мои склонности и вкусы влекли меня к кабинету и маленькому интимному кружку. Но все это ультраконсервативная*[277] партия приняла за другое. Не то за грубость, неуважение к авторитетам, не то за какую-то гордость и желание по этим причинам уклоняться от консерваторов. Но я никогда тоже от аристократии и не уклонялся упрямо и умышленно — и когда приходилось с ними знакомиться и встречаться — я делал это очень радушно, если находил в них что-нибудь подходящее себе — и теперь там у меня есть приятели!

За мной стали усиленно наблюдать, добиваться, что я такое? Либерал? Демократ? Консерватор? В самом ли деле я религиозен или хожу в церковь так, чтоб показать... Что? Кому?

Теперь, при религиозном индифферентизме, светские выгоды, напротив, требуют почти, чтоб скрывать религиозность, которую вся передовая часть общества считает за *тупоумие*. Следовательно, перед кем же мне играть роль? Перед властью? Но и та, пользуясь способностями и услугами разных деятелей, теперь не следит за тем, религиозны ли они, ходят ли в церковь, говеют ли? И хорошо делает, потому что в деле религии свобода нужнее, нежели где-нибудь. Искать я ничего не искал: напротив, все прятался со страхом*[278] и трепетом*[279] принял приятное и лестное приглашение В. П. Титова заняться с покойным цесаревичем литературой (в ожидании, пока найдут другого учителя, вместо заболевшего) и потом испугался, оробел своей несостоятельности по части знаний и педагогических способностей, а более дрожал за свою ответственность в этом важном деле — и с большой печалью удалился[158].

Многие, не зная моей нервозности, вероятно, приписали и это — нехотенью, может быть, недостатку сочувствия к этим, любимым всеми — и мною конечно — лицам. Можно ли так

толковать чужую душу? Если б могли взглянуть в мою, то увидели бы в ней совсем противное!

Если б еще мою нелюдимость и затворничество от света приписали моей обломовской лени — я бы ничего не сказал: пусть! Вместо *лени* поставить *артистическую, созерцательную натуру*, способную и склонную жить только своею внутреннею жизнию — интересами творчества, деятельностию ума, особенно фантазии, и оттого чуждающеюся многолюдства, толпы, то и была бы правда, особенно если прибавить к ней вышеупомянутую нервозность, робость!

Вот какая моя обломовщина! Она есть если не у всех, то у многих писателей, художников, ученых! Граф Лев Толстой, Писемский, гр<аф> Алексей Толстой, Островский — все живут по своим углам, в тесных кружках!

Таково было положение дела около 1858 и 1859 года. Тогда я напечатал “Обломова” и тогда же произошли у нас первые размолвки и объяснения с Тургеневым по поводу “Дворянского гнезда” и “Накануне”.

В 1856 году (кажется, так) я напечатал (уступив издание московскому книгопродавцу А. И. Глазунову) путевые записки «Фрегат “Паллада”» — и, конечно, поспешил представить первые экземпляры всей императорской фамилии, с посвящением в<еликому> к<нязю> Константину Николаевичу, которому был обязан этим плаванием [159]. Тут я не робел и не боялся, потому что эта книга была, так сказать, моим обязательным литературным отчетом о путешествии. Затем я и был взят, чтобы описать — и худо ли, хорошо ли, я не боялся представить свой труд. Но романы — это другое дело! У меня недостало даже духа принести “Обломова” к великому князю Ник<олаю> Алекс<андровичу>, моему ученику. По какому праву я принесу ему роман? Я не Пушкин, не Гоголь: мало ли кто пишет романы? Это значит: я написал хорошую книгу и считаю ее достойною представить тому или другому высокому лицу! Я думал наивно, что высокие лица, заметив хорошее, сами изъявят свое удовольствие автору.

В прежние времена подносили книги — с целию подарка, перстня: это мне казалось неприлично — выпрашивать! Да притом в<еликий> к<нязь> был еще юноша — и я не знал, можно ли было ему читать романы! Все это разные угодники поняли и растолковали иначе. “Не хочет, дескать, стало быть, не признает!” и т. п. И собралась этих угодников, кажется, порядочная толпа — и давай меня катать всячески! Я ничего этого, конечно, не воображал, *мне не приходило и в голову*, чтобы мной занимались, обращали на меня особенное внимание. Я не подозревал в себе никак настолько значительного таланта, чтобы меня заметили выше. Я был счастлив успехом “Обломова” — и *тогда только* сам несколько, про себя, оценил книгу — и принес ее министру просвещения — и даже думал, что он доложит когда-нибудь государю — вот и все! Но как он этого не сделал — и свыше, по-видимому, ничего о книге не заметили, я и подумал,[*280] что это не такое важное произведение, чтобы его туда представлять! Но соваться туда с своими сочинениями — я, конечно, не решался, тем более, что не знал, как высокие лица относятся к литературе. Словом, как неважная личность, *я не лез вперед — и от этого все мои беды*!

Мне в голову, говорю я, не приходило, чтобы ультра-консервативная партия знала каждый мой шаг, каждое слово и каждое... письмо! А она знала (это бы еще не беда) — но на всем этом, и, между прочим, на моей истории с Тургеневым, она построила целый план трагикомических действий против меня, отравив мне жизнь и не извлекши никакой из меня пользы[161].

Всему этому помогли много — мой неосторожный, часто резкий язык, потом мое болтливое перо — и наконец Тургенев!

Из переписки моей узнавали все: и объяснения с Тургеневым,[*281] и отношения к тем или другим лицам. Мои резкие отзывы о том, о другом, даже о близких лицах исходили частию из

моей натуры, то есть из природного, развившегося до крайней степени анализа моего ума и наблюдательности, частию из духа того отрицания, которое сделалось руководителем и орудием нашего века — повсюду, во всех делах, и в литературе особенно [*282]. С Гоголя мы стали на этот отрицательный и в беллетристике путь, и не знаю, когда доработаемся и доживем до каких-нибудь положительных воззрений, на которых бы умы могли успокоиться! Может быть, никогда! Это очень печально! Отрицание и анализ расшатали все прежние основы жизни, свергли и свергают почти все авторитеты, даже и авторитеты духа и мысли, и жить приходится жутко, нечем морально! Не знаю, что будет дальше![162]

В моей чуткой и нервной, наблюдательной натуре изощрилось это жало анализа, но однако же тут же рядом ужилось и сердце, и многое другое... Зато меня и зовут отсталым: пусть! Я постараюсь “претерпеть до конца”![163] От анализа, конечно, не укрылись отрицательные стороны, то есть уродливости, ложь в тех или других явлениях, в тех или других личностях — и язык не сдерживал себя, выражался — или шутливо, или резко. В то же время я не переставал и благоволить к тем же самым явлениям и лицам, признавая в них положительные, то есть хорошие стороны. Но не эти стороны бросаются в глаза, а уродливости, резкости — оттого о первых и молчат, а вторые замечают и говорят о них.

Это встречается на каждом шагу и в других, *но за ними не следят, не слушают каждое их слово*, оттого им и сходит с рук, а мое каждое слово сочтено, взвешено и поставлено в вину. “А сам-то хорош!” — скажут мне. — Знаю лучше других, что во многом *очень* дурен — и вот еще причина, почему я не навязываю себя обществу!

Но, конечно, наблюдатели сбиты были часто с толку: я впадал в противоречия в их глазах: говорил и *против* кого или чего-нибудь, и *за*. И это нередко рядом, тут же. Любил и отталкивал: понятно! Анализ задевал одно, фантазия красила это в другой цвет, а сердце не теряло своих прав. Потом, завтра, и следа не оставалось: все исчезало, как мираж!

Бог знает каким надо быть психологом, чтобы угадать что-нибудь в такой [*283] нервной натуре! А *они* хотели приемами простого, часто грубого наблюдения разложить фантазию, уследить ее капризы и, конечно, ничего не поняли и могли только казнить, мучить! Зачем делает то или не делает другого? Оставить бы в покое — и ничего бы не было! Я написал бы еще что-нибудь и был бы покоен, по возможности, счастлив! Выдумали: *собака на сене*! Поверили завистнику! Однако эта “собака” дойдет до своего, *сделает дело, хоть медленно, с трудом, с сомнениями — но сделает*. Не надо мешать ей! А мне мешают, грозят со всех сторон, рвут из-под рук и дают другим! Как не убить не только всякую охоту, но и самого человека! *И убили*!

Писать — это призвание — оно обращается в страсть. И у меня была эта страсть — почти с детства, еще в школе! Писал к ученикам, из одной комнаты в другую — ко всем.

И до сих пор так: особенно *письма*. И понятно, почему *особенно* их! Эпистолярная форма не требует приготовительной работы, планов, поэтому в ту же минуту удовлетворяет природной страсти — выражаться! Ни лиц не нужно, ни характеров, ни деталей, ничего, что задерживает и охлаждает[*284] резвое течение мысли и воображение! Нужен только корреспондент и какой-нибудь интересующий меня сюжет, мысль, что бы ни было: этого и довольно! Я сажусь, как музыкант за фортепиано, и начинаю фантазировать, мыслить, ощущать, словом, жить легко, скоро и своеобразно — и почти так же живо и реально, как и в настоящей жизни! И насилу оторвусь от бумаги, как импровизатор-музыкант от своего фортепиано!

Проходит незаметно вечер, утро, напор электрической силы истрачивается, и я, как разряженная лейденская банка, делаюсь холоден, бесчувствен, пока завтра, послезавтра опять что-нибудь заденет меня — и я опять играть, то есть писать и жить! Этим пользовались, потом злоупотребляли, вызывая меня на переписку, и потом меня же казнили за написанное, если

приходилось не по их вкусу, делая надо мной разные *штуки*, опыты, как над трупом! Эту игру фантазии, например в переписке с женщиной, примут за *ловеласничанье*, за желание “*увлекать*”, играть — с подосланной ими же какой-нибудь барынькой! И вместе с нею — давай казнить меня!

Меня иногда самый сюжет письма не интересовал, или интересовал мало, но довольно, если он, хоть на время, будил мои нервы — и я давай писать!

Сколько хитрых, остроумных, ядовитых выдумок истрачено на это! То выворотят мое же письмо наизнанку и пришлют мне, я отвечаю и на это, то пишут разными почерками, будто издалека, когда предмет живет здесь, иногда даже сама барынька и не пишет вовсе, а все другие — я все пишу! Иногда устроивали свидания — за границей, в Париже, в Берлине — я не приеду, конечно, а все пишу — всякий вздор, что в голову придет![164]

Сбитые с толку корреспонденты сердились — на меня же! Шучу, дескать, я, или в самом деле выражаю ревность, страсть, злобу (что там придется по содержанию), и чувствую ли я эту страсть, злобу? Или шучу и притворяюсь, и если притворяюсь, то казнить!

Я думал, что это какие-нибудь соперники, обожатели этой госпожи, мстят мне за то, что не понимают значения моих писем — и я продолжал писать, отшучиваться![*285], но этим раздражал их. А они казнили меня, делали мне серьезные неприятности уже не в письмах, так что я бросил, стал отступать, объяснял, что я автор по своей природе и что я часто авторствую поневоле и сам хорошенько не могу объяснить этого процесса, где кончается автор и где начинается человек. Уверял и их, и женщин, и подосланного ко мне попа [165], что я вовсе не играю и не шучу, когда пишу, что женщин мне, пожалуй, не нужно совсем, и т. д., что наконец я силюсь в Райском уследить и объяснить, как человек фантазией может переживать, будучи художником от природы, то, что другие переживают опытом!

Все это, конечно (то есть это бесцельное писание) есть своего рода “обломовщина”![*286]. Но ведь (как я показал в “Обломове”) “обломовщина” — как эта, так и всякая другая — не вся происходит по нашей собственной вине, а от многих, от нас самих “независящих” причин! Она окружала нас, как воздух, и мешала (и до сих пор мешает отчасти) идти твердо по пути своего назначения, как бы сделал я в Англии, во Франции и Германии!

Твердой литературной почвы у нас не было, шли на этот путь робко, под страхами, почти случайно. И хорошо еще у кого были средства, тот мог выжидать и заниматься только своим делом, а кто не мог, тот дробил себя на части! Чего и мне не приходилось делать! Весь век на службе из-за куска хлеба, даже и путешествовал “по казенной надобности” вокруг света — “для обозрения наших северо-американских колоний” — сказано было в моем аттестате! До того ли было, чтобы собирать тщательно капитал своих мыслей, чувств, наблюдений, опытов и фантазии — и вносить его в строго обдуманные произведения? И все-таки, несмотря на горы и преграды, я успел написать шесть-семь томов! В другой рукописи[*287] (“Моим критикам”) я объяснил, отчего я долго писал свои романы: оттого что, скажу словами Белинского, в них входило столько, “сколько другим стало бы (и стало!) на десять повестей!” Надо еще удивляться, как я мог написать их, несмотря на все препятствия! Одна зависть чего стоит! Она не дремала, наблюдала за мной, ползла — и теперь еще не утихла. Она хочет окончательно укрепить за собой натасканное ею — и поставить меня на свое место, а себя на мое. Мне уже намекают об этом — и я, чтобы по возможности оградиться от лжи и клеветы, bon gré malgré[*288], с большим отвращением должен писать эту летопись.

У меня есть еще слабая надежда, что если[*289] зависть удовольствуется тем, что уже сделано ею, и оставит меня в покое, не шевеля старого, я возьму да и разорву эти листы.

Не этим способом, а новым трудом я хотел бы обличить ее, но лета, повторяю, охлаждение

и вся эта борьба мешают творческой[*290] работе, всему мучительному процессу установки типов в картины, картины в надлежащую рамку и т. д.! Да если и напишу, Тургенев поспешит наделать опять *параллелей* из моего труда и раздаст другим за границей, наблюдая, конечно, чтобы меня не переводили. Да еще, пока буду писать, у меня подслушают, подглядят — и заранее сообщат ему[*291] — его многочисленные слуги — и он сам возьмет и другим раздаст. А зависть не дремлет и, кажется, готовит новое мщение. В нынешней (январской 1876 г.) книжке “Вестника Европы” помещена пустенькая повесть Тургенева — под заглавием “Часы”, и тут же в выноске обещан новый большой роман[166].

К большим романам Тургенев сам не способен — и я полагаю, что он и на этот раз сделал какую-нибудь *параллель* с моих же писем, то есть взял там мысль и сочинил характер по ней — и потом скажет: “Вот-де я написал и большое, новое произведение, а Г<ончаров> все ничего не пишет, следовательно, и все прежнее — мое, а не его!” Впрочем, может быть, я ошибаюсь — и он выдумал и свое!

Говоря о *письмах*, я должен сознаться в некоторой моей наивности. Я, конечно, вместе со всеми знал, что на почте письма распечатываются, и это даже почти не скрывалось, но я наивно думал, что эта мера относилась только к подозрительным личностям, за которыми следили, а что прочие, если и вскрывались случайно, то пропускались без внимания. Письма же людей надежных, неподозрительных, безопасных, мирных и т. д. (полагал я наивно) *остаются неприкосновенною святыней — не только для высших государственных людей, но и для самих низших почтовых чиновников*, занимающихся распечатыванием корреспонденций! Я думал, что привыкнув разбирать письма и приглядевшись к почеркам на адресах — они привыкли отличать, что подлежит вскрытию, что нет, и, конечно, уважать чужие мысли и речи, как уважили бы чужие карманы и портфели, как скоро знают, что это пишется от тех-то и к тем-то, то есть когда тайной полиции наблюдать нечего! Такое уважение к частным делам, к частным, интимным отношениям, интересам, мыслям, речам — я считал и считаю *не только обязательным и неизбежным нравственным долгом честных людей, но и делом мудрой, высшей политики государственной*!

Кто поступает вопреки этому, тот может внушать к себе только страх, а не уважение — и во всяком случае — отталкивать от себя. Конечно, кидая почти ежедневно эти свои импровизации в почтовый ящик, я не сомневался, что иные письма случайно и будут вскрыты, но думал, что деликатный человек не станет читать их из приличия, а если иногда и прочтет — то не беда: не станет же он болтать о том, что сделал ненужную нескромность, прочитав чужое письмо! Я не беспокоился тем более, что письма мои, конечно, читали, как я думал, не один, а несколько моих корреспондентов, следовательно не будет большой важности в том, если прочтет иные, ошибкой, и почтовый чиновник! Но *письма* эти, как я увидел потом, *получались и читались совсем не теми, к кому они были писаны* ... А хуже всего — это то, что из них делали вопиющие злоупотребления, нарушая всякие мои права, даже собственность! Автором этой идеи о письмах был первоначально тоже Тургенев! Вон у меня есть одно его письмо, где он говорит, que c’est une calamité publique que je n’ecris pas![*292] Что ему хочется задрать меня как-нибудь, чтобы вызвать на переписку, то есть другими словами, выудить не только все *из книг* моих, но черпать прямо из головы, все на том основании, что я-де *собака на сене*! Что за претензия! Если у самого нет[*293], так и не пиши, или пиши то, что есть. Мало ему быть русским Теньером, Остадом[168], нет, давай писать большие исторические картины, хоть чужие! Как бы то ни было, но письма эти передавались и ему, и другим, особенно когда я начал уже подозревать всю эту *механику*. Тогда, чтобы отклонить подозрение от Тургенева и от себя, стали давать содержание и прочим[*294] авторам... Конечно, по его внушению, что все-де писанное мной

замечательно и пропадать не должно. Так он хитро и устроил полицию, чтобы мимо его не прошла какая-нибудь литературная моя цель! Как паук, мелко и тонко ткал он эту паутину!

Этим способом Тургенев и управлял всей этой ватагой, не только для того, чтоб черпать себе материал, но еще более для того, чтоб быть постоянно au courant[*295] всего того, что я думаю, делаю, сочиняю! Страх его и трепет — в том, чтоб я не сочинил нового романа! Налгавши под рукой, что не он у меня, а я у него заимствую, и что не он мне, а я ему завидую, он — как потом мне объяснилось — прикинулся жертвой этой зависти, и этим успел создать себе сообщничество целой какой-то группы лиц, которая, будучи хитро обманута им, и начала ему содействовать, заглядывая в мои тетради, передавая из них все ему, и даже Ауэрбаху, что и послужило содержанием к дальнейшим повестям Тургенева и роману “Дача на Рейне” Ауэрбаха. Эти лица, поверив наглой лжи, конечно должны были питать негодование к завистнику и помочь “*жертве*”. Они сочли это долгом, забыв мудрое правило audiatur et altera pars[*296], Тургеневу легко было уверить, что я у него заимствую, потому что весь роман à peu près[*297] был ему прежде известен — и он, конечно, мог им сказать вперед, о чем я буду писать — и выдать это за свое. А если б ему не помогли — не было бы написано “Дыма”, “Дачи на Рейне” и др. В письмах я, пожалуй, проговорился бы — ну, хоть о сюжете — а уж он бы своим чутьем пронюхал, в чем дело, и сейчас написал бы о том же, чтобы я все оставался в роли его подражателя! Это не самое худшее из злоупотреблений с письмами: было еще хуже! Если случалось мне о ком или о чем-нибудь резко или небрежно, неуважительно отозваться, сейчас этому давался ход — и на меня обрушивались последствия, иногда очень грустные!

Я должен был бросить все: службу[170], тот небольшой кружок приятелей, в котором жил, и прятаться, так сказать, от света! Надо еще к этому прибавить, что частию благодаря этим письмам, а частию моим сочинениям, со мною и надо мною начали делать какие-то мистификации, шутки! Например, разные господа и госпожи играли со мной роли[*298] из моих романов, то Ольги, то Наденьки, то Веры, ставя меня в роль героев — Адуева, Обломова, Райского и прочих! Зачем? Спросите тех, кто это делал! Весело, должно быть, было: ты, дескать, даровит, наивен, ну, оно и смешно![*299] Сначала это делалось как-то секретно, между немногими, и очень ловко: видно, что средства были широкие, времени много... То вдруг племянника моего подошлют из провинции (а у меня их четверо) непременно служить сюда, как в “Обыкн<овенной> истории”[171], то подговорят женщину говорить, что говорит Ольга или Вера и т. п.! Вот, мол, ты играешь и путаешь нас в письмах: и мы с тобой будем шутить... Впрочем, эти комедии начались давно — до писем! Но и письма мои давно и прежде, даже к родным, бесцеремонно распечатывались!.. Следовательно, я был прав, сказавши выше, что все, что случилось со мной, могло случиться только в России... Если бы и Тургенев, по этой же только причине, то есть видя и зная, что делается или делают со мной, удалился за границу, то и он был бы прав... особенно если б не увез туда чужого добра!

Объяснить, почему все это делалось — и притом с усердием и настойчивостью, достойною лучшего дела — нельзя, не умею! Есть книжка “Les mystificateurs et mystifiés (Jacob Bibliophile)” par Michel Raymond[*300]. Прочтите ее: там описана какая-то шайка шутников[*301], перед революцией 80-х и 90-х годов — во Франции. Это историческая записка — и по ней можно составить себе понятие о нравах, образовании и вообще о характере общества и о моменте его возраста и развития! Всем этим штукам надо мной много способствовало и вышеупомянутое ложное истолкование моей натуры, нрава, привычек, причин нелюдимости, отчуждения от всего, кроме пера! На меня гневались, что я дорожил своим углом, своею крошечною, поэтическою независимостью — и хотел делать, что указывала мне природа, талант и степень образования! Потом, если я даровит — и письма мои читались с

удовольствием, то... То не следовало бы мучить, беспокоить меня, думаю я — и скорее как-нибудь помочь делать свое дело. Например, не следовало вступаться в мою размолвку с Тургеневым — и послушав или подглядев мои тетради, передавать ему.

Я написал бы все свое — без этих помех мне и без этой помощи ему — и эти романы остались бы в России — и если они таковы, что даже и в подделках под них обратили на себя внимание в чужих литературах, то, конечно, уважение к русской литературе увеличилось бы.

“Какую ты важность приписываешь своим измышлениям! (скажут мне на это). — Не все ли равно, что какие-то три книжонки появятся у нас, или за границей: России от этого не убудет! Замечтал ты о себе высоко”...

“Нет, не я, а Тургенев этим самым своим образом действий высоко оценил меня. Оценили бы, конечно, все вместе Белинский и Добролюбов, но их уже не было. Один Тургенев тонко критически понимал искусство и больше никого из старых не было. А затем — публицистика и утилитарное направление завладели всем и согнали беллетристику на задний[*302] план! Ведь я здесь буквально говорю правду — следовательно, если в книгах моих есть что-нибудь новое и самобытное, то с отнятием у нас и с перенесением за границу, без сомнения, “убыло” — не России, а кое-что из русской беллетристики!” — “Это не важно (скажут): хоть ее бы и не было вовсе! Начиная с Чернышевского и до нынешних русских же публицистов все думают точно так же”[*303].

Мне кажется — и тем, и другим стало бы места![*304]

Мне скажут, что если так меня мистифировали,[*305] смешав мои сочинения с жизнью и сделав из этого одну огромную шутку, то очень может быть, что и это отнятие моих задач и передача их другому — входила тоже в программу шутки — как в романе “Обломов”, которого сначала разорили, а потом все уладили, все ему возвратили и успокоили его. Очень может быть: похоже на это! Схитрили, растаскали и отдали, но возвратить только не могли! Это две разные роли — отнимать и отдавать, и на это нужны и две разные силы! Другой между тем, пользуясь этим, успел перевезти все это за границу и наделать там шума, укрепив это добро частию за собой, частию за иностранцами! Плохая шутка!

Или (догадаются еще) все это придумано, чтоб заставить меня писать еще новый труд и этим доказать, “что ты действительно был этим источником, из которого черпали все жаждущие мыслей и образов! “Напишите!” (пристают беспрестанно ко мне). “Не пишете ли нового?” Поздно! Поздно! Разорите какого-нибудь торгаша, нажившего в 60 лет капитал и предложите опять наживать, и тот не сможет! А тут писать! Разогревать убитую энергию, подогревать фантазию, жить опять искусством, когда не хочется и просто жить! Чтобы заставить писать, нужны были другие, противуположные средства: не надо было обрезывать крылья!

Я, впрочем, ничего, ничего больше не желаю, как сидеть покойно, сложа руки — и удивляюсь немало, что вопросу о том, пишу *ли* я, или *нет*, все, с кем ни встретишься, приписывают какую-то важность!

Зачем с самого начала, или, если не с начала, то с появлением “Обломова” в 1859 году начались какие-то враждебные подходы под меня? То вдруг ценсура запретит какую-нибудь статью в мою пользу, то от меня скроют то или другое благоприятное впечатление, сделанное романом где-нибудь и т. д. А с “Обрывом” это стало еще заметнее! Зачем! Зачем эта неприязнь, эти шутки, это надоеданье, вся эта порча моей жизни? С печалью угадываю некоторые причины, к которым подали повод частию недоразумения на мой счет, частию..

Дело все в том, повторяю, что представители ультра-консервативной партии, в своем слепом усердии к ее интересам, принимали и принимают, кажется, до сих пор мою нелюдимость, мой мечтательно-созерцательный ум, мои творческие заботы, требовавшие покоя,

уединения, независимости от сует и “злоб дня” — словом, мою нервную, художническую натуру — за какое-то умышленное уклонение от условных, принятых форм официального порядка нашей русской жизни за гордость, даже, чего доброго, за непризнание тех или других авторитетов...

И тут не без Тургенева обошлось! Он — как я увидел потом — искусно представлял меня ярым оппонентом, почти врагом высших административных и других наших порядков — тем возбудил[*306] подозрительность и вражду в высших консервативных сферах против меня, которая оттого усердно и помогала ему в передаче моих тетрадей и писем.

Между прочим, в книжке Courrière о русской литературе — им, конечно, сочиненной вместе с этим французом — в восхваление себе — он в предисловии выставляет меня каким-то *мстителем деспотизму, гнету правительства в России и т. п. хитрости*![173] Тогда и начались пытания, наблюдения, шпионство за мной, чтобы узнать, что я такое. И чуть я выскажу[*307] в разговоре с кем-нибудь свободную мысль, выражу осуждение какой-нибудь правительственной мере и т. п., что всеми говорится на каждом шагу — мне все это ставилось в счет — и, конечно, не оставлялось без возмездия — и это ежедневно, на каждом шагу! а когда наблюдатели, контролеры и угодники, следившие за мной, сбивались с толку, замечая противное во мне, тогда относили все это к обломовской лени — и все продолжали меня беспокоить, мучить, надоедая разыгрываньем сцен из “Обломова” и других романов. “Ты-де описал самого себя”. Ну, что же — говорил я им — если так, зачем же вы еще тревожите меня, пристаете, как школьники, если я, по вашим словам, сам себя описал? Оставьте же меня — если я уж так пожертвовал собою!

Но напрасно было говорить с этой разыгравшейся толпой! Они далее Обломова, Адуева, Райского ничего не видели во мне — и измучили!

А потом преследовали еще за то больше всего, что *я не служил прямо и непосредственно, как чиновник, своими сочинениями ультра-консервативным целям, зачем не вступал в открытую полемику с радикализмом, не писал статей в газетах или романов, карая нигилизм и поддерживая коренные основы общественного порядка, религии, семьи, правительства и т. д.*[*308] И все это вызвало на меня бурю[174]. Начал Тургенев “Дворянским гнездом”, а они помогли ему довершить и остальное! Никто в этом лагере даже не догадывался, что я давно все сделал *по-своему, служа делу, как художник*, — и даже поместил свой “Обрыв” в либеральном гнезде, “Вестнике Европы”, где, хотя с ворчаньем, морщась, но приняли его[175], что наконец там, в романе, поддержано и уважение к религии в лице Веры, и подрывается в лице Волохова радикализм — и падение женщин окупается страданием[*309] — и что, наконец, роман писан искренно, с убеждением — и притом *бескорыстно*!

Никто не понял, что самые молодые, крайние люди сильно были раздражены против меня за то, что будто я был несправедлив к молодому поколению, дурно *изобразив Волохова*, то есть не польстив! А старые поколения негодовали за то, что я к нему был *мягок*, то есть не обругал его! А я не сделал ни того, ни другого, я нарисовал только портрет, как видел его! И в этом вся тайна успеха! Именно в портрете!

Напиши я полемическую статью, или сделай портрет грубее, злее — все и пропало бы! В полемике я оказался бы бессильнее любого бойкого и ловкого газетного диалектика, а придай портрету черту собственного негодования — и вышло бы пристрастно, то есть не похоже!

Забывают, что у художника есть свой особенный путь, манера и что девиз его — sine ira![*310]

“Нет, ты, должно быть, благоволишь сам к радикализму, если не лезешь в драку с ним — и вовсе не сердишься!” Я не сержусь, а просто рисую, что вижу в натуре и в отражении ее в своей

фантазии. И в этом, и только в этом моя сила! Да я и не могу писать на заданные идеи — никогда, никогда!” (В рукописи “Моим критикам” я объясняю это подробно)[177].

Меня, правду сказать, удивляют те ребяческие приемы, к каким прибегает консервативная партия охраны коренных начал — уважения к религии, к власти, к нравственности и т. д. в литературе! “Московские ведомости”, то есть Катков, правда, с успехом выступили против заграничной пропаганды Герцена с Огаревым, Бакунина и других — именно тогда, когда эти господа, потеряв всякие живые сношения с Россией и не видя, не зная, что в ней делается и что именно ей нужно было вслед за реформами, которых они были такими горячими поборниками, вышли из своей прежней хорошей роли, указывая уродливости русской общественной жизни, администрации и т. п., чем много принесли пользы, — и стали смущать наши юные*311 поколения проповедью крайнего и беспощадного отрицания, последними продуктами парижской бульварной философии и политики, переживавшей кризис за кризисом — и навязывали нам тамошнюю лихорадочную жизнь, с ее минутными, ежедневными, горячешными судорогами — ее чуждыми нам интересами, страстишками! Наконец, встав за Польшу, уязвили русское национальное чувство — и отвратили от себя здесь даже друзей своих. Катков первый энергически обличил ложь этой пропаганды, падавшей на восприимчивую почву молодых умов возраставшего поколения, которому нужна была строгая система методического, основательного образования[178]! И Катков успел и приобрел большую популярность. Но лишь только он стал официальным, хотя негласным опекуном *312 консервативных интересов, его заподозрили в пристрастии, в сикофантстве, в неблаговидных инсинуациях из личной корысти — и он мало-помалу начал терять свою популярность!

Это понятно почему. Правительство наше сильно: сила эта зиждется не на той или другой партии, а на общем народном к нему доверии и преданности. Какие же Катковы могут поддерживать или защищать его! Оно слишком хорошо защищено — так защищено, что трудно, хотя и необходимо иногда для общего интереса говорить *против* него в печати! Оно защищено своими законами о печати, цензурою. Оно может литературно само защищать себя только единственным, прямым способом, то есть официальным журналом-указателем, опровергая ложные слухи, неблагонамеренные толки, объясняя с достоинством свои виды, меры, намерения, когда это нужно. Вот и все! Так делает, например, “Journal de St. Pétérsbourg”*313 относительно внешней политики — где разбираются общеевропейские политические вопросы, в которых подает свой голос и Россиия[179]! А затем правительство наше уже никак не может заставить говорить в печати то или другое: это ни к чему не поведет. Оно может только запрещать говорить, что найдет вредным. Наемные чиновники-литераторы никогда не принесут пользы, а только подорвут доверие к действиям правительства. Притвориться искренним нельзя — раскусят, как ни прячься! Франция и Англия в этом случае — нам не пример: там есть открытая (в Англии) оппозиция, необходимая для контроля и критики действий министерства, то есть правительства, которая, одержав победу, сама когда нужно становится во главе его. Во Франции — все разделены на партии, заведомо для существующего правительства держащие*314 сторону трех претендентов на престол!

Поэтому понятно, что и в той и в другой стране — возможны и необходимы и различные органы, выражающие каждый свою партию и борющиеся между собою!

У нас этого быть не может. У нас все *должны* стоять за правительство, за господствующую религию — и всякое отступление от того или другого — считается преступлением. У нас все должны быть консерваторами*315: и правительству остается только наблюдать (и оно очень зорко наблюдает), кто в печати норовит свернуть в сторону, и далеко ли? Только эта рознь и может быть между журналами — а правительству остается только пасти, чтобы овцы не

уходили куда-нибудь... Но уйти некуда!

Что же будут проповедовать собственно охранительные журналы? Что надо молиться Богу, чтить власть и т. д. Но это знают все. Заграничные журналы проповедуют не то: одни стараются доказать, что Франция воскреснет, когда Шамбор придет, а другие ратуют за Орлеанский дом, третьи доказывают, что[*316]наполеоновская династия одна способна спасать Францию[180]. В Англии — оппозиционные журналы следят за каждым шагом правительства и нападают на ошибки, а министерство, в своих журнальных органах, защищается и т. д. И правительство — и вся Англия — сильно именно этим открытым контролем! Оттого там и настает крайняя надобность и в правительственных органах печати — для борьбы с свободными либеральными органами, которым цензура не может зажать рта! А у нас!

— Но, скажут однако, что в общество проникают так называемые *разрушительные начала*, охлаждение к религии, к авторитетам власти, семьи и т. п. На Западе вон уже до чего дошла так называемая интернациональная пропаганда: требует анархии, разрушения всего старого порядка![181]

— Да, правда: в общих понятиях людских совершается что-то странное, почти небывалое, по крайней мере небывалое в таких размерах! Какое-то глубокое, всемирное движение!

Но против узкого и эгоистического радикализма юношей-недоучек, против партий действия санкюлотов — общество вооружено здравомыслием, зрелостью и всякою, то есть и моральною, интеллектуальною и вещественною силою — и разливу этих крайних безобразий радикализма помешают — все и всё. Против крайних увлечений этого зла, как против грабежа и разбоя (это новейший вид разбоя!) — все восстанут, — и коммуна, как болезненное порождение горячешного воображения, дурных страстей и злой необузданной воли, не одолеет никогда здорового большинства человеческого общества, как никогда не одолеет шайка вырвавшихся из тюрьмы преступников — целым городом[182]. Опасность не тут. А вот что делать — с охлаждением[*317] к тому, что считалось священным, неприкосновенным, необходимым, чем жило до сих пор морально человеческое общество? Анализ века внес реализм в духовную, моральную, интеллектуальную жизнь[*318], повсюдную и неумолимую поверку явлений[*319] в натуре — [*320] вещей и людей — и силою ума и науки хочет восторжествовать над природой [*321]. Все подводится под неумолимый анализ: самые заветные чувства, лучшие высокие стремления, драгоценные тайны и таинства человеческой души — вся деятельность духовной природы, с добродетелями, страстями, мечтами, поэзией — ко всему прикоснулся грубый анализ науки и опыта. Честь, честность, благородство духа,[*322] всякое нравственное изящество — все это из идеалов и добродетелей разжаловывается в практические,[*323] почти полицейские руководства. Сентименты — и вообще все добрые или дурные проявления психологической деятельности подводятся под законы, подчиненные нервным рефлексам и т. д.

Разум и его функции — оказываются чистой механикой, в которой даже отсутствует свободная воля! Человек неповинен, стало быть, ни в добре, ни в зле: он есть продукт и жертва законов необходимости, никем не начертанных, а прямо поставленных слепою природой и устраняющих Бога и все понятия о миродержавной силе! Вот, à peu près[*324], что докладывает новейший век, в лице своих новейших мыслителей,[*325] старому веку. Юность трепещет в восторге перед этим заревом — и бежит на огонь. Старшие поколения недоумевают — и плодом этого реализма есть всеобщее ожидание, чем разрешится наконец этот новейший сфинкс и что даст человеку взамен отнимаемого?[*326]

Человек, жизнь и наука — стали в положение разлада, борьбы друг с другом: работа, то есть борьба, кипит — и что выйдет из этой борьбы — никто не знает! Явление совершается, мы

живем в центре этого вихря, в момент жаркой схватки — и конца ни видеть, ни предвидеть не можем![*327]

Но продолжительное ожидание переходит в утомление, в *равнодушие*. Вот враг, с которым приходится бороться: *равнодушие*! А бороться нельзя и нечем! Против него нет ни морального, ни материального оружия! Он не спорит, не противится, не возражает, молчит и только спускается все ниже и ниже нуля, как ртуть в термометре.

От этого равнодушия на наших глазах пало тысячелетнее папство![183] От него же стонут в Турции христиане — и христианская Европа помогает герцеговинцам вместо нового общеевропейского крестового похода дипломатическими нотами![*328][184]

В общественных, политических, национальных вопросах сентименты давно изгнаны, наконец и в частных, интимных отношениях — их заменяют тоже компромиссы и т. п.!

Может быть, и вероятно, это все минует, воздух после удушья и гроз очистится — и из этого пожара, как Феникс, возродится новая, светлая, очищенная жизнь, где будет, может быть, меньше елея, чувства и страстей — но больше правды и порядка, чем было в старой!

Уж если стоило ломать все, так, конечно, надо ждать такого результата, а то из чего весь этот дым!

Или, когда кошемар этот пройдет, человек проснется бодрее, после тяжких опытов, умнее и здоровее — и воротится все к той же неугаданной, таинственной, трудной и страдальческой жизни — и поднимет опять из праха все доброе, что свергли неистовые новаторы, и поставит на свое место и станет веровать и любить еще более, *сознательно и разумно*!

Дай Бог! Я верую, что будет так! Но теперь с этим “равнодушием”, о котором я говорю, — не сладят ни тенденциозные консервативные журналы, ни тенденциозные заказные романы и статьи — все вопросы века решатся не теми или другими нашими хотениями — а вместе наукой и опытом, то есть самой жизнью[*329] и самим веком,[*330] может быть, не настоящим[*331]! Смотрю я на эти ребяческие усилия[*332] некоторых писателей[*333]! — которые хотят поддержать — кто высший класс, кто семейный союз, кто религиозное чувство,[*334] пишут на эти темы повести и романы. Я удивляюсь не тому, что они предпринимают походы против современного химического разложения жизни (играют же ребятишки в солдаты и в войну), а тому, что консерваторы верят в возможность их успеха!

Между ними есть люди с талантом, например Лесков, даже с большим[*335]. Но это не помогает[*336]. Я читал последнего и увлекался его живыми страницами (*дневник протопопа*)[185] — мастерскими сценами из быта духовенства или старообрядцев (“Запечатленный ангел”).[*337]

К<нязя> Мещерского почти не читал, а просматривал местами — все недурно, а кое-где и очень хорошо. Но — говорят — их читает высший класс, то есть те, кто лично заинтересован содержанием, а они (особенно Мещерский), как слышно, живьем вставляют туда портреты этого круга, интриги, сплетни и проч. И в этом только и успех, но литературной силы, действия на массу общества эти сочинения не производят — потому что там присутствует умысел, тенденция, задача и отсутствует — творчество!

От этого — то есть от обеих этих причин — и нет увлечения, следовательно и нет урока, примера, действия, как, например, от романов графа Льва Толстого (“Анна Каренина”).[*338]

В графе Льве Толстом читатели наслаждаются его художественною кистью, его тонким анализом — и вовсе не увлекаются большим светом, потому что, как истинный, непосредственный художник, он тоже им не увлечен — и потому его люди большого света — такие же люди, как и все прочие, то есть образованные. Г<раф> Толстой действует, как поэт,

творец, на читателей — и с таким же мастерством и авторскою любовью пишет крестьян, леса, поля, даже собак, как и столичные салоны с их обитателями. И читатель следит за ним с такою же любовью, не замечая вовсе вопроса о высшем классе, к которому остается равнодушен, как и сам автор![188]

В статьях охранительных[*339] так называемых журналов — попытки[*340] привлечь читателя[*341] к вопросу о религии, например, об уважении семейных уз и т. п. — действуют на тех, кто не терял или не менял на этот счет своих убеждений, все же повинные в скептицизме, в реализме, в отрицаниях — даже не читают их или посмеиваются над ними, особенно если еще заподозрят эти старания журналистов в неискренности, как оно и есть большею частию. Им приписывают какие-то посторонние, спекулятивные цели!

Вот, кажется, охранительная партия сетует и на меня, зачем я не берусь за этот же гуж, не ратую прямо и непосредственно против радикализма! Но я сделал свое дело — как автор и художник, дав портрет Волохова — и дав в Бабушке образ консервативной Руси — чего же еще?

Против радикализма ратовать больше нельзя: он, как *грех*[*342] *осужден,* он недолговечен!

А спорить против “равнодушия” к тем или другим вопросам, мыслям, чувствам, направлению — не умею, и сил нет! У меня было перо — не публициста, а романиста,[*343] которое сами же вы, охранители, вырвали из моих рук — и отдали другому!

А что этот другой сделал для “охраны”? И въявь и втайне скалил зубы над Россией, над вами, примазывался и к новейшему поколению (но напрасно, оно лучше угадало его), пробовал петь и народный гимн с каким-то Луниным и Бабуриным и в тот же момент стучался в противуположную дверь с статейкой “Наши послали”, а наконец сделался французским литератором и во Францию[*344] перенес и раздал по частям заслугу русской литературы!

А вы меня сделали каким-то козлом отпущения за общую деморализацию, за утрату коренных убеждений, чувств в обществе, наконец за равнодушие к религиозным, политическим, семейным и всяким авторитетам!

Чем я тут виноват!

Я все это сохранил и храню — смотрю на жизнь и живу по-своему, — сделал все, что мог, и хочу отдохнуть и дожить свои дни в покое!

“Нет, пиши!” — кричат мне.

Да кто меня послушает, когда у меня отняли и то значение, какое я имел! Ведь я не гений: если б и написал, я не сделал бы переворота в умах и убеждениях, а сделал бы только то, что меня причли бы к лику тенденциозных писателей[*345] — и на старости лет не дали бы мне покоя, которого у меня и без того мало!

Оставьте, скажу я, художника, ученого, всякого, кому Бог дал творческий талант, оставьте его на свободе, не троньте, если он сидит у себя и не просится в ваши салоны, не ищет успеха в свете.[*346] Это иногда бывает от нервозности (как у меня и у других) и от желания углубиться беспрепятственно в творческие работы! Если он вреден — у вас, охранителей, есть тысячи средств остановить его, но если он полезен, то никакие наемные умы и таланты не заменят его природной силы и искренности! Оставьте умы и таланты работать и у нас — не на узде, а свободно творить свое дело на всех поприщах деятельности — и не старайтесь направлять их насильственно на тот или другой путь! Если они честны, искренни — они найдут прямой путь — и будут полезны России! Тогда только Россия может созреть и стать рядом с другими! Нет сомнения, что явятся сильные люди — и в науке, и в искусстве — и дадут всему этому движению другой, неожиданный и — конечно благоприятный оборот! Я верую в это — и удивляюсь[*347] тому, как при временных возмущениях могут сомневаться в светлой и чистой будущности человечества! Это значит — не верить в Провидение!

Что касается до меня и до моих мелких дел и вообще моей судьбы — то[*348] во всей[*349] этой жалкой истории, измены моему доверию со стороны Тургенева, передаче моих замыслов за границу и облаве[*350] на меня “толпы мучителей”[189] я читаю уроки Провидения — и благословляю Его Правосудие, Премудрость и Благость! Надо мной совершилось два евангельские примера: я лениво и небрежно обращался с своим *талантом, закапывал его*, и он отнят у меня и передан “другому, имеющему два таланта”![190]

Потом я *не простил* ему первого *своего долга*, вспоминая о нем, негодуя — и вот[*351] расплачиваюсь *за все свои долги*![*352].

Выписываю здесь несколько мест из оставшихся у меня немногих писем Тургенева, где он упоминает о моих романах вскользь. Большую часть писем, после примирения с ним, я сжег. Уцелели случайно только четыре или пять. Не знаю, сохранятся ли они у меня в бюро — и на случай их утраты привожу несколько фраз.

(Не знаю, дойдет ли и вся эта рукопись до следующего поколения, попадет ли она, если дойдет, в добрые и беспристрастные руки: если не дойдет, значит, и не нужно, так и следует.)

«А что делает Ваша литературная деятельность, — пишет Тургенев из Парижа от 11-го ноября 1856 года, — не хочу и думать, чтобы Вы положили свое золотое перо на полку, я готов Вам сказать, как Мирабо Сиэсу: “Le silence de M-r Gontscharoff est une calamité publique!”[*353] Я убежден, что несмотря на многочисленность цензорских занятий, Вы найдете возможным заниматься Вашим делом, и некоторые слова Ваши, сказанные мне перед отъездом, подают мне повод думать, что не все надежды пропали. Я буду приставать к Вам с восклицаниями: “Обломова! И 2-й (художественный) роман!”, пока Вы кончите их, хотя бы из желания отделаться от меня — право, Вы увидите.

Шутки в сторону, прошу Вас убедительно сообщить мне, в каком положении находятся эти 2 романа: горячее участие, которое я в них принимаю, дает мне некоторое право предложить Вам этот нескромный вопрос!»[191]

Далее, через несколько строк, Тургенев прибавляет: “Я намерен познакомиться с здешними литераторами и постараться поближе вникнуть во французскую жизнь!”

За несколько месяцев перед этим письмом он писал мне (из села *Спасского*, от 21 июня 1856 г.) о том же и в том же тоне.

«...Впрочем, я, — пишет он между прочим, — думаю про себя (и утешаюсь этим), что несмотря на пребывание в Петербурге и занятия по цензуре, Вы все-таки найдете время втихомолку продолжать Ваш роман, то есть кончить наконец “Обломова” и приступить к другому, от которого ожидаю золотые горы, то есть я не так выразился — эдак можно подумать, что я его купил у Вас — ну, словом, Вы меня понимаете. До сих пор мне памятен один обед в Петербурге, у меня на квартире, на котором Вы мне с Дудышкиным рассказывали разные подробности из Вашего романа. Грешно Вам будет зарыть все это!»[192]

В следующем письме *из Парижа, от 11/23 ноября 1856 г.*, говоря, как его огорчило мое письмо с жалобами на хандру, на бессилие писать и т. д., он продолжает: “... Мне кажется, что, жалуясь на себя, Вы нарочно преувеличивали, желая самого себя раздразнить и подшпорить (это чувство мне самому весьма знакомо), но в Вашем письме такая неподдельная серьезность и искренность, что у меня и руки опустились. Неужели же, подумал я, мы в самом деле должны отказаться от Гончарова — писателя? Неужели же этот прелестный роман, очерк которого, набросанный им в один зимний вечер в Петербурге (в доме Степанова) наполнил таким веселым умилением меня и Дудышкина (Вы не забыли этого вечера?), неужели этот роман, уже почти готовый, уже просившийся на свет, должен исчезнуть навсегда?”[193]

Далее он говорит, что *желал бы быть хорошенькой женщиной*, чтобы иметь на меня

влияние, *советует положить за правило писать по часу в день* и проч.

А в письме *из Парижа от 8/20 марта*, кажется, писанном в ответ на мое уведомление о намерении кончить “Обломова”, он сам, жалуясь на хандру и болезнь в мочевом пузыре, прибавляет: «...упрекая Вас в бездействии, я был осел, приставая к Вам, “почему Вы не пишете?” А вот как самого свернуло — так даже гадко подумать о том, что когда-то сам подливал своего доморощенного масла в эту неуклюжую машину, называемую русской литературой!!...»[194]

По-видимому, какая бонамия[195], какое искреннее участие и радушие к обоим моим романам — “Обломову” и “Райскому” (“Обыкновенная история” была уже напечатана в 1847 году). А это просто — дипломатические ноты, где сквозит нетерпение узнать, “буду ли я сам писать и скоро ли кончу” или, говоря словами первого письма: *в каком положении оба мои романа*, чтобы знать, далеко ли я ушел и успеет ли он обратить *[354] почерпнутую главу из “Райского” в “Дворянское гнездо”, а эпизод о *Козлове с женой* передать одному из французских литераторов, с *которыми тогда знакомился*.

Это все обнаружилось по последствиям: и “Дворянское гнездо” и “M-me Bovary” — очевидно уже писались в 1856 или в 1857 году и вышли в следующем году!

Случайно таких сходств не бывает: кто-нибудь да взял у другого. Тургенев хитро рассчитал и видел всю перспективу: он знал, что я юридически уличить его не могу и потому распорядился смело. Я не ведал о существовании “M-me Bovary” до 1868 или 1869 года, когда печатался “Обрыв”: да едва ли кто-нибудь у нас прежде заметил этот франц<узский> роман — и только когда появился “Обрыв”, какая-то невидимая рука подсунула к этому времени русской публике и “M-me Bovary”. А в 1870 году и “Education sentimentale”, тоже будто невзначай явился в том же журнале, в янв<аре> и феврале[196]. “Смотрите, мол: похоже! Не француз же заимствовал! И кто же: *великий* Флобер!” И пустил свой шепот о зависти, слыша, что я и после его заимствования и нашей размолвки все-таки хочу продолжать свой роман! *[355] Вследствие этого он и провозгласил крайне реальную школу, а отцом ее Флобера и конечно себя. Эту же мысль он пустил в ход через француза Courrier’а, автора продиктованной ему Тургеневым “Истории русской литературы”, где прямо он и объявлен творцом новой школы. “*Тургенев пишет умом, а Гончаров сердцем*”, — сказано там: похвалил, нечего сказать, своего идола![197] *Пишет умом* — да ведь это значит *сочиняет*, а пишет *сердцем* — значит *творит*, что и нужно в искусстве, без чего искусства и нет. *Сердце* в искусстве значит фантазия, юмор, чувство! От этого эта крайне-реальная*[356] школа есть выдумка, пущенная в ход, чтоб оправдать бессилие таланта, недостаток творчества, вроде таких романов, как “Education sentimentale” и последних тургеневских сочинений, где они претендуют писать одну голую правду, без лучей поэзии*[357], без колорита. Это безжизненно, сухо и скучно — и не влечет читателей. Вон Emile Zola в критической статье жалуется, что “Education sentimentale” Флобера прошло незаметно[198]. Еще бы! Взятое с чужа, урезанное, выжатое — могло ли оно подействовать на кого-нибудь живо, тепло и непосредственно? Точно то же и с тургеневскими копиями: безжизненны и бледны эти его — “Дым”, “Накануне” и т. п.! Как ни старайся выдавать это за новую школу! Есть детали, искры таланта, а все вместе не годится!

Есть такие сумасшедшие, которые свое сумасшествие сваливают на других!

Тургенев завистлив до бешенства: только такая зависть могла затеять и исполнить эту интригу, которой он принес в жертву 20 лет своей жизни и большую часть пера! Шутка ли, переделывать, сокращать, урезывать, перефразировать *[358] разговоры, сцены, выбирать удачные фразы, сравнения и т. д., подводить под чужие большие портреты своих человечков — и для себя и для другого! Жить для этого за границей! Одно только громадное самолюбие может дать

человеку и такое терпение!

Как хитро и осторожно упоминает в письме *об одном только вечере у него*, когда я рассказывал роман при Дудышкине, а про свидание наедине, у меня дома, в письме — ни слова![199] Так что, если б я стал потом уличать его, он, конечно, сказал бы, что слышал то, что я говорил ему при Дудышкине, может быть, не все, и сослался бы на него. Но смерть Дудышкина и Дружинина развязала ему руки, а Стасюлевич еще, конечно, сказал ему, что я сжег и письма!

И вот он начал действовать все смелее и смелее и, кажется — как я вижу — всю историю выворотил наизнанку, то есть поставил дело, особенно за границей, так, что «все-де это я (то есть он) сочинил (как *Хлестаков все журналы издает и "Юрия Милославского" написал*!) — а вот, мол, другой завидует, да из моих миниатюр и пишет большие романы!»

Другие поверили и у нас ему — и помогли добыть[*359] мои тетради и сообща подсказали и жиду Ауэрбаху, а Тургенев[*360] уже сам втихомолку надел русский хомут на шею француза!

Теперь ждет и боится, не напишу ли я чего-нибудь: это с одной стороны может, конечно, обличить его, а с другой — поможет ему потом опять наделать *параллелей* и для себя и для других, и, пожалуй, сказать, что он это все мне рассказал! Для этого он так пристально и следит за мной, то стараясь сам повидаться, то выведывая, что я делаю, через Стасюлевича и разных других кумовьев и слуг![*361]

С отвращением кончаю эту жалкую историю и отрясаю перо! Даже не беру труда перечитывать и исправлять ее! Не исправишь! Пусть неуклюжее, но правдивое сказание — если ему, к моему глубокому сожалению, суждено быть читану другими, кроме меня, — явится со всеми неисправностями языка, с повторениями, длиннотой!

Не могу никому вверить и для снятия копии, чтобы при жизни моей другие глаза не увидели этой истории!

Не я причиной ее: кто начал, тот и виновник. Я долго колебался, писать ли эти дрязги,[*362] стоит ли вскопать всю эту грязь и обнаруживать печальные и мелкие стороны души человека — с отличными задатками ума, таланта, образования, внешней обаятельной вкрадчивой грации и т. д.

И конечно, рука моя не поднялась бы на это грустное дело, если бы, с моим умолчанием, все, что здесь сказано, — не упало потом на меня самого! Закинутая им сеть так тонка, что я молча сношу все, что делается со мною и около меня, потому что одна моя голая правда не превозможет его нарядной лжи — и если истина обнаружится, то после когда-нибудь, без нас обоих, когда нас будут судить — не други, не сторонники его и не враги мои, а беспристрастные следователи и критики! Я же, и теперь, и после — от души прощаю и ему — и всем тем, кто так настойчиво, слепо и неразумно делал мне зло — из праздной ли пустой потехи, или по подозрению в том, в чем я не виноват, или, наконец, и за то, за что я заслуживал это зло!

Я желаю и надеюсь, как выше сказано,[*363] чтобы дело не доходило до необходимости давать этой рукописи ход! Бог да простит всех нас!

Примечание. Завещаю — моим наследникам и вообще всем тем, в чьи руки и в чье распоряжение поступит эта рукопись, заимствовать из нее и огласить что окажется необходимым и возможным — во 1-х — не прежде пяти лет[*364] после моей смерти — и во 2-х — в таком только случае, если через Тургенева, или через других в печати возникнет и утвердится убеждение (основанное на сходстве моих романов с романами как Тургенева, так и иностранных романистов), что не они у меня, а я заимствовал у них — и вообще, что я шел по чужим следам!

В противном случае, то есть если хотя и будут находить сходство, но никакого предосудительного мнения о заимствовании выражать не будут, то эту рукопись прошу предать

всю огню или отдать на хранение в Им<ператорскую> Публ<ичную> библиотеку, как материал для будущего историка русской литературы. Прошу убедительно об этом и надеюсь, что воля умершего будет уважена!

Само собою разумеется, что эта рукопись не должна быть вверяема — никому из личных друзей или, вернее, покорнейших слуг Тургенева: например, Стасюлевича, Анненкова, Тютчева[200] и всего этого круга — где, конечно, будут всячески его оправдывать — а меня обвинять. — Тонкой, проницательной критики у нас теперь нет — хотя есть умные перья, но большею частию) — публицисты, а не критики. А одна глубокая, проницательная и беспристрастная критика и может только внимательно взвесить, обсудить и решить спор подобного рода. Она и скажет: кто из нас прав, кто виноват, не теперь, так со временем. А его друзья (или слуги — у него друзей не было) будут только пристрастно вопиять за него и против меня.

Иван Гончаров

Декабрь 1875 и январь 1876 года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ “НЕОБЫКНОВЕННОЙ ИСТОРИИ”

Июль, 1878. Я запечатал было все предыдущие 50 листов, думая остановиться там, где кончил. Но в течение этих двух с половиною лет случилось многое, относящееся к этому делу, и я, если начал, то должен и продолжать — все единственно для той цели, чтобы сказанное здесь могло послужить к обнаружению правды. Это важно во всяком, даже мелочном деле. Если в литературе дорожат всякою биографическою подробностью какого-нибудь писателя, собирают сведения о его воспитании, учении,[*365] о его характере, деятельности и частной жизни — чтобы все это могло послужить как материал для изучения эпохи, или как назидание и пример, и наконец как данные к открытию истины, то и сказанное здесь поможет объяснить кое-что о наших литературных нравах.

Я подолгу забывал о Тургеневе и о его проделках, желая на старости одного, покоя, и равнодушно видел, как его честили в газетах первым писателем, “величайшим реалистом”, и даже сравнивали отчасти с Шекспиром, например, Асю его с Офелией (Евгений Марков в своих критических статьях)[201]. Но он меня не забывал — и живучи в Париже, *у себя*, продолжал через кумовьев наблюдать, не пишу ли я чего, рассчитывая так, что если я напишу, то он узнает стороной о чем именно — и предупредит меня, написав маленький рассказец о том же, чтоб вышло так, что я по его мыслям пишу, стало быть-де и все предыдущее было так, как он налгал. А когда мое вышло бы в свет прежде, он написал бы сам или подшептал бы французу, *параллель* этого — и вышло бы у них очень реально. Наконец он справлялся о том, пишу ли я, и для того, чтобы в случае, если я пишу, молчать и выжидать, что будет, не пуская в ход своих затей, а если бы я замолчал навсегда, то довершить начатое им дело, то есть объявить себя смело первым писателем и обвинить в заимствовании меня. Он мечется, как угорелый: ему не сидится там покойно! *Бегает нечестивый, ни единому же ему гонящу*![202] Ему, конечно, как и всем, у кого совесть не чиста, кажется, что не только я один, но и все видят его плутни — и он ищет всяких средств усилить как-нибудь свое значение и доказать формально, что я иду по его следам, а не он подбирает у меня. Он все продолжал подсылать разных своих кумовьев, в надежде, что я проговорюсь кому-нибудь явно обо всей этой истории, а он [*366] опять потребует формального свидания и *юридических доказательств*, а так как их[*367] нет, то он победоносно и докажет, что я завистник и клеветник, а он великий писатель и жертва.

Но я, зная этот его маневр, упорно молчу, никого о нем не спрашиваю, о его сочинениях не поминаю, и ему привязаться не к чему.

Он, конечно, боится пуще всего, чтобы моих сочинений[*368] не перевели на французский язык и, сидя там, в качестве гения и главы школы, имеет огромное влияние между новыми французскими литераторами, всячески мешает переводам как моих, так и других сочинений на французский язык, но более всего моих.[*369]Это, во 1-х, потому, *чтобы не обличилось сходство некоторых франц<узских> романов, для которых он дал материал, выдав его за свое добро*, и, во 2-х, чтобы во французской литературе, пожалуй, чего доброго, не нашелся умный и прозорливый критик, который может разобрать, *где настоящий оригинал, где подделка*, где выросло на своей природной почве, где заимствовано! Он и подсказывает, кого и как перевести, делает там свою критич<ескую> оценку нашим писателям — и оказывается по этой причине, что нашим писателям в переводах — не везет. Например, из гр<афа> Льва Толстого — они с Флобером перевели какие-то отрывки, а важнейших его сочинений до сих пор не трогают![203] “Один-де писатель в России — Тургенев, а прочие так себе!” Он недавно и в речи своей на Литературном конгрессе (об этом ниже) заявил, что Россия имеет четырех писателей: Карамзина, Пушкина, Лермонтова и Гоголя...[204] “Прибавьте Тургенева!” — сказали в толпе слушателей[*370]. Тургенев поклонился и принял.

Он и живет между прочим в Париже и боится уехать оттуда по этой причине, чтобы как-нибудь не оплошали да не перевели “Война и мир”, “Анна Каренина”, “Казаки”[205] — да Островского, да Писемского, Щедрина-Салтыкова и многое другое. Если б перевели, то увидели бы, как бледен этот гений перед всею этою силою! А если б перевели еще и меня, то увидели бы и источник, откуда он почерпал материал и себе, и другим.

Там, вероятно, разобрали бы: в самом ли деле две последние части “Обрыва” хуже первых, как он уверил весь круг своих поклонников[206], а те пустили дальше в ход эту критику (потому что я уже перестал сам с ним видеться, когда писал их, и следовательно, солгать ему нельзя было, что он помогал мне советами)

На толпу часто[*371] действует слепо голос какого-нибудь авторитета, и ему верят[*372] на слово и повторяют его приговор, к которому наконец привыкают, пока не явится настоящий судья и не бросит истинного света на дело.

Если Тург<енев> — в своих видах, мог фальшиво осветить своей умышленной, злой критикой конец моего романа, раздув в то же время похвалой подсказанные им романы Флобера (чего он не делает, чтобы раздуть значение Флобера: сочинили они там вместе какие-то две легенды “Иродиада” и еще о каком-то Святом — не помню, кроме того, написали повесть “Un coeur simple”[*373] все это крайне плохо, слабо — и не может служить подтверждением того, что “M-me Bovary” и “Education sentimentale” и эти повести писаны одним пером[207]. Эти последние два все-таки резко отличаются от всех прочих сочинений этого бездарного француза, писавшего под диктовку Тургенева с чужих романов!), то это могло случиться в России, где у него есть шайка наметанных бульдогов и слуг, но не всегда это можно было рассчитывать ему сделать за границею, несмотря на связи его с новейшими франц<узскими> писателями. Франц<узская> литература велика: там нашлись бы противные ему, правдивые и умные голоса, которые приподняли бы завесу. Наконец, по-французски прочитали бы и в Англии, и в Германии, и может быть — сумели бы отыскать истину.

Итак, он, как огня, боится переводов с русского на французский и зорко караулит, сидя там, чтобы этого не случилось.

Между прочим, он сделал вот что. Весной прошлого 1877 года[*374] я получаю из-за границы письмо от некоего Charles Deulin[*375], начинающееся так: “Monsieur et cher Maitre![*376] и т. д. Он пишет, “что 18 лет тому назад, вскоре по напечатании “Обломова” я дал ему и его товарищу M-r

De La Fite*377 (это псевдоним русского, Петра Артамова, поселившегося в Париже) право (une autorisation) на перевод “Обломова”, что они перевели только одну первую часть, потом-де Dela-Fite*378 — Артамов отстал от перевода, занялся другим, а затем умер, а вот он, Charles Deulin, не знающий ни слова по-русски, взял да и напечатал (вдруг через 18 лет!) одну эту первую часть и посылает экземпляр мне, как автору с величайшими комплиментами, прибавив, что и франц<узские> журналы очень хвалят эту книжку[208].

Вскоре я получил и книжку. Перевод оказался верный, исправный — и немудрено: Deulin пишет в предисловии, что целая колония русских переводила каждое выражение![209]

Но дело в том, что в этой первой части заключается только введение, пролог к роману, комические сцены Обломова с Захаром — и только, а романа нет! Ни Ольги, ни Штольца, ни дальнейшего развития характера Обломова! Остальные три части не переведены, а эта 1-я часть выдана за отдельное сочинение! Какое нахальство! Я сейчас почувствовал тут руку Тургенева, тем более, что на этой книжке, на заглавном листе, мельчайшим шрифтом напечатано: Tous droits réservés*379. Это значит, что другой переводчик не имеет права переводить и издавать “Обломова”, по крайней мере первой части.

Рассчитано верно: не имея права на первую часть, кто же станет переводить остальные три — без первой?

К письму своему Deulin этот прибавил, что он не знал, что делать с первою частью, не знал, к кому обратиться: “обращался-де к Тургеневу, да тот собрался ехать в Россию — и ничего ему не мог сказать”. Тургенев действительно в это время приехал в Петербург: я его не видал, потому что давно перестал видеться с ним.

А отчего этот Deulin*380 не обратился ко мне самому — про это и знает Тургенев.

Я отвечал этому Шарлю Deulin (он пописывал мелкие повести: “Buveurs de la bière”*381 и проч.), “что, если я и дал 18 лет назад (о чем забыл) право переводить “Обломова”, то, конечно, не на отрывок, а на перевод целого романа, что он перевел только пролог или введение, а не самый роман, — и тем испортил последний в глазах франц<узской> публики. Наконец, это право было дано его товарищу, знавшему по-русски, а не ему одному, и особенно я не давал права ставить на 1-й части надпись: tous droits réservés и таким образом запрещать переводить другим. Все это мог только сделать, прибавил я, злой и завистливый соперник, который мог внушить такую мысль ему, Шарлю Deulin, а он привел ее в исполнение, не думая мне сделать вред”. (Переписка эта есть в моих бумагах)[210].

Я получил в ответ сердитое письмо (зачем я угадал умысел), что я напрасно хлопочу так усердно о точности исполнения условий перевода, что во Франции с иностранными авторами привыкли обходиться без церемонии — и что я должен считать себя счастливым, что стал известен французской публике и т. д.

А о подписи tous droits réservés — ни слова!

Но зато в этом ответе он уже признался*382, что Тургенев тут что-то ему советовал или поправлял (в безобразном, нелепом и фальшивом “Предисловии”), тогда как в первом письме сказал, что Тургенев ничего не делал!

На это я отвечал коротко ему и издателю книжки, Didier *383 (который тоже писал мне), что я нахожу неуместным издание одной первой части романа, и особенно не считаю их вправе — ставить на ней надпись “Tous droits réservés”, наконец, что я передал право перевода другим.

Тургенев хотел воспрепятствовать переводу всего “Обломова” потому, что франц<узская> публика, прочитавши его, конечно, нашла бы, что и “Обрыв” писан одним и тем же умом, воображением и пером, и что между этими двумя романами есть ближайшее родственное сходство, что Райский есть своего рода Обломов, что обстановка вся — чисто русская

национальная и что изображаются и в том, и в другом романе — две близкие эпохи, и т. д.

Следовательно, обнаружилось бы, что не я заимствовал” Обрыв” у Флобера, а что этот роман сшит из каких-то клочков на живую нитку и кем-то пересажен на французскую почву... и что тамошняя натуральная школа привита от другой, предшествовавшей ей школы в России... усердным русским пересадчиком!!!

Многое открылось бы при этом, чего не хотелось бы гению — Тургеневу: оттого он так ревностно и укрывает русскую литературу от французов!

А может быть — он успел и из “Обломова” подсунуть многое в какой-нибудь франц<узский> роман[*384]: перевод обличил бы, пожалуй, это — и вышел бы скандал, éclat[*385], при котором, может быть, прорвалась бы наружу настоящая правда![*386].

Весной же прошлого 1877 года[*387] пришли ко мне два француза — M-r Lacoste[*388] и кажется Grévin[*389](он и жена его оба пишут) и спросили меня, могут ли они переводить или писать статьи об “Обломове” во франц<узских> журналах”[214].

Я сказал, что я не желал бы соваться в чужую литературу, а впрочем, пусть делают, как хотят!

В это время Тургенев был в Петербурге — и ко мне однажды пришел П. В. Анненков, бывший тоже здесь. Я сказал о намерении двух французов переводить “Обломова”, он, конечно, передал Тургеневу — и вдруг Тургенев, располагавший было ехать внутрь России, к себе, бросился назад, в Париж, чтобы, разумеется, помешать этому делу. И — без сомнения — успел, потому что об этом намерении француза не было уже больше слуха[*390].

Тургенев между прочим собирался сюда приехать насладиться своим торжеством — вслед за напечатанием последнего его романа “Новь”.

Он все продолжал писать в последние годы мелочи “Странная история”, “Стук-стук-стук”, “Бригадир” и т. п. да сделал безобразный слепок с “Короля Лира”, но все это было бледно и ничтожно, а ему нужно было доказать, что вот он все пишет да пишет, а я-де замолчал давно, следовательно, его никак нельзя заподозрить в похищении, тогда как я остановился, следовательно, выходит, что заимствовал я, а не он. Он и решил для этой цели написать большой роман и написал “Новь”.

У меня в “Обрыве”, в конце, есть намек на партию действия (в Волохове), но не сказано, какого, а глухо намечено, что эта юная партия пропагандистов чем-то волнуется, к чему-то готовится. А в лице Тушина является представитель здорового, сильного, делового поколения, который работает у себя в лесу — и потом любит Веру, несмотря на ее падение и т. д. и собирается жениться на ней. Тургенев очень искусно прошелся и по этому, взяв ту же основу, изменив моего Тушина в Соломина — и также женившегося на оставившей другого женщине — но ввел уже партию действия на деле — в лице Нежданова и других — и даже сделав из последних слов “Обрыва” переделку по-своему. Все это замаскировано искусно, перепутано и заметно мне одному, так как я автор и помню каждое свое слово.

Но эффект от “Нови” вышел совсем не тот, какого он ожидал. Бледно, жалко, мелко, ничтожно! Это куча каких-то червей, гомозящихся около чего-то. Точно из бумаги нарезаны эти очерки или силуэты маленьких человечков, в которых не обозначилось ни характеров, ни нравов. Все[*391] бесколоритно, серо, безжизненно, как написанные по трафарету обои, с условными фигурами, действием, речами! Словом, крайне реально, как они называют это с Флобером!

Все это публика поняла, изумилась и разочаровалась, а журналистика бесцеремонно и единогласно высказала это разочарование! Вероятно, многим из тех, кому он налгал на меня, что я ему завидую и что я пишу по его идеям, приходили в голову сомнения о том — полно,

правда ли это? Не наоборот ли вышло? Отчего повести его — “Дворянское гнездо”, “Отцы и дети”,*[392] особенно первая — выходили и колоритны, и изящны (когда он слушал меня и когда доставляли ему секретно выписки из моих тетрадей), а все прочее, когда перестали передавать тетради, вышло так ничтожно? Сам он сделал уже по печатному параллель из 1-й части “Обыкн<овенной> истории” в своих “Вешних водах” — перенеся действие во Франкфурт, прибавив свою барыню, вроде кокотки, что и вышло удачно, талантливо, а остальное все выкроено по моей мысли, только раскидано. У меня страдает от первой любви и обливается *вешними слезами* юноша, а у него девушка, а изменяет — у меня героиня, а у него герой! Взята и сцена верховой езды (у меня брошена мимоходом), а он истощился над ней! Даже деталями не пренебрег: ягоды чистит и его героиня, как у меня Наденька, и речь о дуэли — все по тому же плану!

В последней книжке “Вестника Европы” (август, 1878) — он же подсунул выписку из записок или “Воспоминаний писателя” Эли Берте, где такой же способ заимствования у своих товарищей приписан французскому писателю Ponson du Terrail[215]. Эта выписка помещена, как одно из орудий тургеневской батареи против меня: уверившись, что я не пишу больше и не буду писать — он это и подсунул, чтобы потом указать и на меня (выставив все розданные им французам извлечения из моих сочинений прежде появления их, так как он их все знал вперед, слушал не только рассказы, но и чтение моих тетрадей), что и я-де поступал таким образом — с франц<узскими> писателями и с ним самим. Вероятно — он не сам даже это и сделает, а внушит эту мысль через других.

И это, как я вижу, он подводит мастерски. На Литературном конгрессе, где он принял такое живое участие, без сомнения, он, имея огромное влияние между литераторами (которым указал новый путь натуральной школы), поддержал — и может быть — и создал сам какой-то небывалый пункт литературной собственности: именно adaptation*[393] — и теперь приехал сюда, как я слышал, хлопотать у правительства о включении этого пункта в конвенцию[216]. Тогда мне уже наученные им писатели и укажут — им же подаренные им извлечения из меня, как заимствования из них! Вот на такие штуки он — действительно — гений! И, вероятно, одолеет: что же мне делать! Покориться и молчать! У него куча — так назыв<аемых> друзей, у меня нет: я жил одиноко — и вероятно*[394] так и умру!

Между тем Тургенев рассчитывал, что именно этим романом — “Новью” — он всего более докажет, что вот он и без “Обрыва” написал большой роман, а я все не пишу, следовательно... и т. д.

На беду его — появление этого романа как раз совпало с производившимся в Сенате следствием по политическим проступкам. Нахватали человек около ста каких-то пропагандистов социальных идей, запрещенных книг и т. п. по селам и деревням. Печатный протокол этого дела был*[395] — ни дать, ни взять — верною копиею с “Нови” или, скорее, “Новь” была копией с него[217].

Затем Тургенев объявил, что он не хочет более писать: худо-де принимает публика!

Теперь он участвует в Литературном конгрессе, состоявшемся во время нынешней Парижской выставки[218]. Рассылал приглашения Edmond Abou*[396] (и я получил). Общий председатель конгресса Виктор Гюго, а председателем иностранных делегатов выбрали Тургенева.

Я не видал еще текста выработанной Конгрессом программы, но читал в фельетоне “Голоса” (12 июля нынешнего года) письмо из Парижа от корреспондента о возмутительном нахальстве, с которым, между прочим, Комиссия Конгресса, решая вопросы об авторском праве, налагает запрещение не только на переводы авторов на другие языки, но и на всякие переделки,

подделки, adaptation, то есть присвоение идеи, сюжета!![219]

Это безумие! Авторы всех литератур беспрестанно сходятся в идеях: как же тут разобрать и разграничить? Стало быть, если Мольер писал Лицемера, Скупого и проч., то никто не смей трогать этого сюжета! Из этого возникнут бесконечные споры!

Нет сомнения, что тут исподтишка много усердствовал Тургенев, чтобы не допустить таким образом переводов тех русских сочинений на французский язык (в том числе и моих), которые он успел давно передать во французскую литературу! Молодец! Разумеется, кому в голову придет, что француз, какой-нибудь Флобер, через ползучую хитрую интригу завистника, залезшего заблаговременно вперед в чужую литературу, мог передать туда из своей, русской, — добро соперника! И кто же? Тургенев! Такой благодушный, честный! О, верен был расчет этой лисы! Но Бог не выдаст, свинья не съест!

Может быть, у него тут были еще и другие какие-нибудь цели — кто его знает! Во всяком случае — цели нехорошие — и он жертвовал тут интересами русской литературы — для французской! Все это очень печально и даже до гадости глупо![*397]

Пока кончу на этом И. *Гончаров*

Июль, 1878.

<ЗАПИСКА

К “НЕОБЫКНОВЕННОЙ ИСТОРИИ”>

С рукописью “Необыкновенная история” следует поступить, как сказано мною в ней, в *Примечании*, на листе 50, в конце.[*398]

Август, 1878.

Я был бы очень счастлив, если б мог предвидеть, что никогда не настанет необходимость оглашать эту рукопись (“Необыкновенная история”) не только путем печати, но даже просто в небольшом кругу литераторов или других лиц. Я немедленно предал бы ее огню, нужды нет, что все излагаемое в ней есть чистейшая правда и что посторонний глаз увидит ее уже после моей смерти. Одна необходимость обнаружить правду не побудила бы меня писать эти листы, как скоро от этой правды должна пострадать чья-нибудь личность: есть нечто выше правды — это забвение и прощение сделанного зла. С какою радостью удовлетворил бы я этой потребности сердца: но тогда надо бы было принять на себя все сделанное противником. Если не он сделал все здесь описанное, так выходит, что сделал я. Так он поставил самое дело — и в такое безвыходное положение поставил меня и себя. Но я не могу взять на себя — в чем он виноват: зависти, безвыходной лжи, присвоения чужого, всех обвинений и клеветы, взведенной на меня.

Наконец, если б он остановился и кончил на том, на чем дело стоит теперь: пусть бы глухо говорили и думали, что я его подражатель, идущий по его следам, пусть бы славили его и здесь, и за границей гением (как оно и делается) — я молчал бы, и молчу, как меня ни задирают, чтоб вызвать на откровение и чтобы дать ему случай опровергнуть меня с помощью целой толпы кумовьев, агентов и слуг и т. д. Но он идет далее: он хочет, чтобы какой-нибудь éclat [*399] — произошел и чтобы в печати и публике упрочилось мнение, что завистник, присвоитель чужого — не он, а я, и все готовит новые и новые батареи, хотя уже и так его — и у нас, и за границей — считают не только первым, но едва ли не единственным русским литератором.

Этого мало ему: перенеся из меня давно с рукописей и целиком и по частям[*400] и в

иностранные романы все из написанного мною и сам взяв многое — он хочет публично ославить похитителем меня — тем более, что, исчерпав все из меня — он стал писать уже свое крайне слабо и плохо, как, например, “Новь” и ряд мелких, пустых повестей. Вероятно, он чувствует, что многие из тех, кого он обошел, ловко оболгавши меня и свалив свои подпольные ходы на меня, начали сомневаться и отрезвляться от этой лжи, прозревать, где правда, где ложь и интрига — и кое-где уже слышится говор, ропот. Он рвется и мечется, чтобы помешать прорваться истине наружу. Толпа его приятелей, слепых поклонников, льстецов и слуг, которыми он, как стеной, окружает себя, ему служат, многие, конечно, бессознательно, одни ради его таланта, другие, обманутые его мнимым, наружным благодушием, ласковостью ко всем им, ратью поднимутся на меня — он это знает и все идет к своей цели.

Загородив собою от иностранцев всю русскую литературу, и особенно мои сочинения, он зорко сторожит, живучи в Париже, чтобы ничего не переводили капитального (напр<имер>, Толстого, Островского и др.) вообще, ибо переводы их могли бы обнаружить солидность русской литературы, а переводы моих романов обличили бы странные сходства некоторых романов: и Бог знает, к чему бы все это повело? Чтобы окончательно помешать этому, он, конечно, более всех настаивает, чтобы на литературном конгрессе принят был параграф об adaptation[*401], то есть чтобы преследовались всякие *сходства*. Следоват<ельно>, если этот закон о *сходствах* или *переделках* войдет в конвенцию, тогда меня переводить и вовсе будет нельзя, так как он передал и содержание, и отчасти изложение моих романов заблаговременно, прежде появления моих рукописей в печати! Стало быть, и выйдет, что не французы же заняли из русского автора, а он у них!

Для этого он и смастерил так, что перевели только одну первую часть “Обломова” на франц<узский> язык, назвав ее отдельным сочинением, а трех частей не перевели. Из этого я заключаю, что они пересажены им давно в какой-нибудь роман, а в какой именно — я не знаю. Окончив “Обломова” в Мариенбаде в 1857 году, то есть дописав там три части — я поехал в Париж, где застал Тургенева, Боткина (Василия Петр<овича>) и Фета, женившегося в день моего приезда на сестре Боткина. Я залпом прочитал все написанное Боткину и Тургеневу: вот когда Тургенев слышал все, а через 2 года я напечатал его в “Отечественных записках”.

Вот если станут переводить другие части — тогда он и выдвинет автора того романа как марионетку, который и скажет, что я заимствовал у него — и пожалуй — если все придуманное ими на литературном конгрессе состоится и войдет в конвенцию, то еще потребует и вознаграждения или за идею, или за исполнение, смотря по тому, что кому так щедро подарил Иван Сергеевич![*402]

До выхода в свет “Обрыва” я знал только, что Тургенев черпает из меня, и именно из этого романа, и я напечатал его почти против воли, по настоянию со всех сторон. А мне не хотелось делать этого потому именно, что я знал, как он растаскан уже им по частям. Но я не подозревал, что он поделился и с другими: и как давно. В 1855-м году я ему рассказал роман, а в 59-м или в 1860-м явилась уже “M-me Bovary” Флобера (у меня Козлов и жена его). Тургенев тогда почти совсем переселился в Париж.

Но я ничего этого не знал, пока не прочел романа “Дача на Рейне”, печатавшегося рядом с “Обрывом” в “Вестнике Европы”[*403]. Один план, одно расположение — много сходных характеров: это поразило меня. Когда я сказал Тургеневу об этом сходстве и о “предисловии” к роману, соч<иненном> Тург<еневым>, он сказал, что это *сочиняли другие*, а он *только подписал это предисловие*.

Затем вслед за “Обрывом”, в 1870 г. в Вестнике же Европы появилось под рубрикой “Иностранная беллетристика” — “Современное французское общество”, перевод “Education

sentimentale” Флобера. Еще более поразило меня сходство здесь: это просто перифраз “Обрыва”. Я сначала местами пробегал его, но вдруг в конце натолкнулся на заключительные слова переводчика, какого-то будто бы Соловьева, а собственно чуть ли не самого Тургенева, который тогда снюхался уже с Стасюлевичем — и они стали орудовать вместе. Там сказано уже явно, что герой Флобера Фредерик похож-де на Райского и что лица одни и те же. Тогда я достал франц<узский> подлинник, прочитал и увидел уже ясно, но поздно, как обманута была моя доверчивая дружба — и каким чувством руководился в отношении меня этот человек!

Вот тогда, видя, к чему все это клонилось и что ожидает меня[*404] и мои сочинения впереди — я горько раскаялся — не в доверчивости только своей, происходившей от моей мнительности и вечных (и до сих пор) сомнений в своих силах (отчего я и читал всем и думал вслух свои сочинения) — а раскаялся в том, что я волею судьбы сделался литератором, а не чем-нибудь другим, ибо в других делах могли взять у меня имущество, перешагнуть мне дорогу, например, на поприще честолюбия и т. п. А здесь — наносится ущерб уже безукоризненной честности моей, ибо похититель, воспользовавшись моей доверчивостью, изменил ей заранее, перебежал в другую литературу, передал мое добро *другим* — и этим, конечно, бросил тень на мою репутацию! Чтобы не склонить голову, как барану, под нож, я и решился, для защиты своей репутации литературной и честного имени описать шаг за шагом, подробно, как было дело между нами и как Тург<енев> употребил во зло мое доверие и дружбу.

К этому теперь он и идет, ищет случая к огласке — и так как силою одного своего таланта, даже и завладев чужим, не сможет удержать за собой захваченного хитростью и интригой положения, то он идет уже напролом!

Против меня все: я один жил, друзей нет, есть несколько безыменных, нелитературных приятелей, есть, пожалуй, много и известных мне и неизвестных ценителей моих сочинений в публике, но все они — любители литературы, сами не литераторы и в прессе никакого содействия мне оказать не могут. Старые приятели, современники и сверстники перемерли, а новая пресса состоит не только из равнодушных, но и враждебных старым писателям лиц, частию из зависти же к ним, частию потому, что и литературные понятия и вкус много изменились, подчиняясь или утилитарному или крайне реальному направлению. Критики нет вовсе, а если кое-где есть, то она задобрена ласковым и благодушным Тургеневым!

Я и молчу, даже не возобновляю нового издания своих романов, несмотря на просьбы издателей. Пусть лучше заглохну — чем поднимать эти толки, из которых Тургенев выйдет невредим, а пострадаю я, потому что против меня многие, почти все!

Верую, что Бог поможет мне, а может быть, за грехи я не стою этого!

От переводов на иностранные языки — я сторонился всегда, считая свои сочинения слабыми, а теперь и подавно сторонюсь, чтобы не доходило до этого скандала, которого ищет Тургенев, чтобы окончательно утопить меня!

Неужели ложь и интрига восторжествуют? Надеюсь, что нет — и что, рано или поздно, правда откроется! Дай Бог, если не для меня, так для правды! Вот эта самая правда и описана в прилагаемой мной рукописи шаг за шагом — на случай, если необходимость вынудит огласить ее. А если нет, то прошу наследников не оглашать.

<ДОПОЛНЕНИЕ К “НЕОБЫКНОВЕННОЙ ИСТОРИИ”>

Июнь 1879 г.

Тургенев метался как угорелый года два, боясь, чтобы не открылось его *тартюфство*. Сюда он приезжал на короткое время, чтобы подогревать свои связи, вербовать новых кумовьев. После выпуска своей “Нови”, удивившей всех своей черствостью и скукой (а он думал ею подтвердить, что будто он все мне рассказывал), он совсем почти сошел с ума от страха, чтоб

наконец не разгадали его.

Оставаться долго он здесь не мог, ибо обнаружилось бы, что я с ним не вижусь, не говорю: спросили бы, что это значит, и — может быть — не все поверили бы ему. Заслышав, что я издаю все свои сочинения — он вдруг приехал сюда, бросился в Москву и поинтриговал, чтобы его друзья — холопы устроили ему триумф. В Москве, в Обществе любителей словесности, ему кричали студенты. Здесь дали у Бореля обед, куда созвали или стащили профессоров, академиков и т. д.[220] Тупой Яков Карл<ович> Грот сравнил его с Пушкиным, а независтливый Григорович заявил ни с того, ни с сего, что Тург<енев> чужд зависти. Это сделано на случай, если бы наконец увидели, что Тург<енев> перетаскал все мое во франц<узскую> литературу, так вот авторитет Григорович и предупредил, что зависти, дескать, нет.

И весь триумф клонился к тому же: как же после всех оваций признать его хитителем и завистником. Поди-ка — попробуй! Верно рассчитал!

Григоровича он приобрел на свою сторону — вероятно тем, что превознес его рисовальную школу — за что тот, ругавший его, как и всех, наповал, стал кричать теперь за него.

Воспользовавшись Парижской выставкой, франц<узские> литераторы, под председат<ельством> В. Гюго, придумали интернациональный конгресс для ограждения якобы литерат<урной> собственности, то есть для собирания оброка с других литератур за переводы, переделки — и так назыв<аемых> adaptations: это последнее опять-таки придумано, как сказывали приезжие из Парижа, Тургеневым. Он более всего раздувал эту мысль — и так как он перенес к ним литературную школу, то и считается там гением. Он имеет огромное влияние: эту мысль поддерживали все, несмотря на возражения Гюго и других.

Наш проходимец бил на одну цель — помешать переводам моих сочинений на франц<узский> язык. Там, пожалуй, нашлись бы критики, которые рассмотрели бы, где родилось произведение, и раскусили бы, что у знаменитого Флобера надергано все откуда-то! Вот он и бьется из всех сил, чтоб это раздуть и не оказаться, вместо гения, похитителем и предателем. И есть из чего!

В Париже дело провалилось, доверия не имели — и вот конгресс переехал в Лондон, там они притянули в почетные члены принца Валлийского Биконсфильда — и орудуют.

Сам Тург<енев> теперь уже спрятался — и подсунул Григоровича — крикуна и болтуна, который теперь играет первую скрипку в оркестре Тургенева — и чего доброго, достигнут цели!

Et voilà comme on écrit l’histoire![*405]

КОММЕНТАРИИ

[1] В апреле 1846 г. Гончаров “несколько вечеров сряду” читал в кружке Белинского первую часть “Обыкновенной истории”. “Белинский <...> был в восторге от нового таланта, выступившего так блистательно” (*Панаев*. С. 308).

[2] Гончаров ошибся: Тургенев возвратился в Петербург из Спасского, где он провел более пяти месяцев, не в 1847 г., а 17/29 октября 1846 г. (*Клеман*. С. 40). Знакомство писателей, очевидно, произошло вскоре после этого: в декабре 1846 г. они уже были знакомы (*Летопись*. С. 26). Не исключено, однако, что знакомство это состоялось ранее — в середине 1840-х годов в Петербурге в доме Н. А. Майкова.

[3] В 1846 г. в “Отечественных записках” были опубликованы поэма “Андрей”, сцена “Безденежье” и несколько рецензий, а в “Петербургском сборнике” — поэма “Помещик”, повесть “Три портрета” и два стихотворных перевода Тургенева.

[4] Во второй половине января 1847 г. Тургенев выехал из Петербурга за границу; в Россию он возвратился во второй половине июня 1850 г. (*Клеман*. С. 42—55).

[5] Ошибка памяти Гончарова: “Сон Обломова. Эпизод из неоконченного романа” был опубликован не в 1848, а в марте 1849 г. (“Литературный сборник с иллюстрациями”, изданный журналом “Современник”).

[6] Статья Гончарова под таким заглавием неизвестна. Вероятно, речь идет о статье “Лучше поздно, чем никогда”, задуманной как возражение критикам романа. “Этот критический анализ моих книг возник из предисловия, которое я готовил было к отдельному изданию “Обрыва” в 1870 году <...> Потом в 1875 году я опять возвратился к нему, кое-что прибавил и опять отложил в сторону” (VIII, 101).

[7] Это свидетельство Гончарова не подкрепляется печатными источниками. Известно, что Белинский высоко оценил “Записки охотника” в статье “Взгляд на русскую литературу 1847 года” и в эпистолярных отзывах.

[8] В первое время после появления “Записок охотника” Гончаров безоговорочно восхищался дарованием их автора. Так, 15/27 декабря 1853 г. он писал Е. А. и М. А. Языковым из кругосветного плавания: “Иногда мне бывает лень писать, тогда я беру — как Вы думаете, что? — книжку Ивана Сергеевича: она так разогревает меня, что лень и всякая другая подобная дрянь улетучивается во мне и рождается охота писать. Но тут и другая беда: я зачитываюсь книги, и вечер мелькнет незаметно. И вчера, именно вчера, случилось это: как заходили передо мной эти русские люди, запестрели березовые рощи, нивы, поля и — что всего приятнее — среди этого стоял сам Иван Сергеевич, как будто рассказывающий это своим детским голоском, и прощай Шанхай, камфарные и бамбуковые деревья и кусты, море, где я — все забыл. Орел, Курск, Жиздра, Бежин луг — так и ходят около” (VIII, 216; ср. отзывы в письме к Тургеневу от 28 марта 1859 г. и в статье “Лучше поздно, чем никогда”. — Там же. С. 260, 143). Позднее, по-прежнему восхищаясь “Записками охотника”, Гончаров неизменно сопровождает подобные оценки утверждениями, что творческие возможности Тургенева ограничены даром рассказчика-”миниатюриста”, который неспособен “строить огромные здания” романов (см., напр., его письмо Тургеневу от 28 марта 1859 г. — VIII, 260).

[9] В письме к А. А. Краевскому от 25 сентября 1849 г. из Симбирска Гончаров жалуется, что работа над “Обломовым” идет с трудом, “вещь вырабатывается в голове медленно и тяжело”; там же он сообщает о возникновении замысла будущего “Обрыва”: “Моя поездка и все приобретенные в ней впечатления дали мне много материала на другой рассказ: но все это пока материал, который еще не убродился в голове — и что из него выйдет, я хорошенько и сам не знаю” (VIII, 199—200). Позднее, в статье «Намерения, задачи и идеи романа “Обрыв”» Гончаров вспоминал: «План романа “Обрыв” родился у меня в 1849 году на Волге, когда я, после четырнадцатилетнего отсутствия, в первый раз посетил Симбирск, свою родину. Старые воспоминания ранней молодости, новые встречи, картины берегов Волги, сцены и нравы провинциальной жизни — все это расшевелило мою фантазию, и я тогда же начертил программу всего романа, когда в то же время оканчивался обработкою у меня в голове другой роман — “Обломов”» (VI, 453).

[10] Гончаров познакомился с Л. Н. Толстым 24 ноября 1855 г. на вечере у Тургенева (*Никитенко*. Т. 1. С. 425). К этому времени он мог знать часть “Военных рассказов” Толстого по публикациям в “Современнике” 1853 и 1855 гг. (вышли отдельной книгой: СПб., 1856). Возможно, что тогда же состоялось и знакомство Гончарова с А. К. Толстым: к концу 1856 г. их общение уже было дружеским и регулярным. 26 декабря 1856 г. А. В. Дружинин пишет Тургеневу: “Круг наш сходится чаще чем когда-либо, т. е. почти всякий день. Центральные персоны — Боткин, Толстой, Анненков, сверх того Ермил (А. Ф. Писемский. — *Н. Б.*), Гончаров, Жемчужников, Толстой Алексей” (Тургенев и круг “Современника”. М.; Л., 1930.

С. 201—202).

[11] Гончаров был определен на должность цензора Петербургского цензурного комитета 19 февраля 1856 г. (*Летопись*. С. 60).

[12] В 1855—1857 гг. очерки Гончарова публиковались в ряде периодических изданий. В 1858 г. они вышли отдельным изданием: Фрегат «Паллада». Очерки путешествия. Т. I и II. СПб.: А. И. Глазунов, 1858.

[13] В 1855—1856 гг. встречи Гончарова с семейством Майковых, устраивавших литературные вечера, были регулярными. Известно, в частности, что 13 ноября 1855 г. он встретился у них с Тургеневым, С. С. Дудышкиным, А. Ф. Писемским, А. А. Потехиным и И. И. Льховским (Голос минувшего. 1913. № 12. С. 237). Однако нет сведений, что Тургенев был в числе слушателей очерков «Фрегат “Паллада”».

[14] 1 декабря 1855 г. Гончаров сообщал Е. В. Толстой о своей работе над “Обломовым”: “...поправить немного, да прибавить главы две, так первая часть и готова” (*ГМ*. 1913. № 12. С. 241).

[15] Подготовительные черновые материалы к “Обрыву” не сохранились.

[16] Рукописи главы о предках Райского, не вошедшей в окончательный текст романа, не известны.

[17] 21 июня/3 июля 1856 г. Тургенев писал Гончарову: “До сих пор мне памятен обед в Петербурге, у меня на квартире, на котором Вы мне с Дудышкиным рассказывали разные подробности из Вашего романа. Грешно Вам будет зарыть все это!” (Автограф этого письма не сохранился. Известен только отрывок, процитированный Гончаровым. По этому источнику печатается в кн.: *Тургенев. Письма*. Т. II. С. 370).

[18] Гончаров находился в Мариенбаде на лечении с 21 июня по 4 августа 1857 г. (*Летопись*. С. 75—76). 2/14 августа 1857 г. он сообщал И. И. Льховскому об успешной работе над “Обломовым”: “*Я закончил первую часть, написал всю вторую и въехал довольно далеко в третью часть* <...>; мне еще недели три пристальной работы осталось до окончания Обломова <...> Поэма изящной любви кончена вся: она взяла много времени и места <...> роман выносился весь до мельчайших сцен и подробностей и оставалось только записывать его” (VIII, 243; ср. с письмом к Ю. Д. Ефремовой от 29 июля / 9 августа 1857 г. — Там же. С. 238).

[19] 16 августа 1857 г. Гончаров приехал в Париж, где встретился с В. П. Боткиным, А. А. Фетом и Тургеневым. 19 и 20 августа он читал им роман “Обломов”, еще “необработанный, в глине, в сору, с подмостками, с валяющимися вокруг инструментами, со всякой дрянью” (VIII, 248—249).

[20] 22 августа / <3 сентября> 1857 г. Гончаров описал И. И. Льховскому реакцию Тургенева на прослушанные им главы “Обломова”: «...Тургенев разверзал объятия за некоторые сцены, за другие с яростью пищал: “Длинно, длинно; а к такой-то сцене холодно подошел” — и тому подобное» (VIII, 249). 21 августа / 2 сентября 1857 г. Тургенев писал В. П. Боткину: «Гончарову повторяю — что его “Обломов” вещь отличная — но требует необходимых сокращений, тем более что этот ряд диалогов и без того несколько может утомить» (*Тургенев. Письма*. Т. III. С. 149). 9/21 сентября он сообщал Н. А. Некрасову: «Гончаров прочел нам с Боткиным своего оконченного “Обломова”; есть длинноты, но вещь *капитальная* — и весьма было бы хорошо, если б можно было приобрести ее для “Современника” <...> не упускай его из виду» (Там же. С. 151).

[21] Гончаров не совсем точен: основной состав “Записок охотника” (22 рассказа) определился уже к 1852 г., когда они были изданы в Петербурге отдельной книгой. В 1859 г. при

содействии Гончарова-цензора (*Летопись*. С. 87, 91) вышло второе издание в том же составе. Тургенев несколько пополнил этот цикл в 1860—1870-е годы, что получило отражение в изданиях его сочинений 1860 и 1874 гг. Рассказ “Муму” впервые был опубликован в журнале “Современник” (1854. № 3); повесть “Фауст” — там же (1856. № 10); “Ася” — там же (1858. № 1).

[22] См. примеч. 8.

[23] Речь идет об описании природы в сцене ожидания Обломовым Ольги в парке (ч. II, гл. X): “Вот шмель жужжит около цветка и вползает в его чашечку; вот мухи кучей лепятся около выступившей капли сока на трещине липы; вот птица где-то в чаще давно все повторяет один и тот же звук, может быть зовет другую. Вот две бабочки, вертясь друг около друга в воздухе, опрометью, как в вальсе, мчатся около древесных стволов. Трава сильно пахнет, из нее раздается неумолкаемый треск...” Трудно сказать, какую аналогию этому поэтическому описанию Гончаров находил у Тургенева. Возможно, он имел в виду описание сада в Вешних водах” (1872), когда Джемма ожидает Санина: “Изредка, чуть слышно и не спеша, перешептывались листья, да отрывисто жужжали, перелетывая с цветка на соседний цветок запоздалые пчелы, да где-то ворковала горлинка — однообразно и неутомимо” (*Тургенев. Соч*. Т. XI. С. 71).

[24] В ноябре 1858 г. Тургенев приехал из Спасского, где закончил “Дворянское гнездо”. 28 и 29 декабря состоялось чтение и обсуждение романа (читал вслух Анненков); наряду с Тургеневым и Гончаровым, присутствовали: П. В. Анненков, Н. А. Некрасов, В. П. Боткин, И. И. Панаев, С. С. Дудышкин, Н. Н. Тютчев, И. И. Маслов, М. А. Языков, А. Ф. Писемский, А. В. Дружинин и, возможно, А. В. Никитенко (*Летопись*. С. 88).

[25] Свидетельство Гончарова об изменениях, внесенных Тургеневым в роман под влиянием Анненкова, подтверждается тем, что после обсуждения была написана новая, XXXV, глава. М. М. Ковалевский вспоминает слова Тургенева: «Анненкову я обязан тем, что вставил в “Дворянское гнездо” целую главу, выясняющую как сложился характер Лизы. Анненков убедил меня, что без этого исход моего романа (уход Лизы в монастырь. — *Н. Б.*) остается непонятным». (*Ковалевский М. М.* За рубежом (Из переписки русских деятелей за границей: Герцена, Лаврова и Тургенева)// *ВЕ*. 1914, № 3. С. 229; см. также комментарий Т. П. Голованової. — *Тургенев. Соч*. Т. VIII. С. 460—463).

[26] Подобные названия были распространены в парковой архитектуре XVIII — нач. XIX в.

[27] 19 марта 1859 г., накануне отъезда Тургенева в Спасское, между ним и Гончаровым состоялось серьезное объяснение по поводу “Дворянского гнезда” (VIII, 258). Обвинения в адрес Тургенева Гончаров возобновил в письме к нему от 28 марта (VIII, 258—263), на которое Тургенев отвечал 7 апреля (*Тургенев. Письма*. Т. III. С. 289—291). По возвращении его в Петербург произошло еще одно “крупное объяснение”, на этот раз завершившееся “миром”: “Он, — писал Гончаров И. И. Льховскому 20 мая 1859 г., — даже предложил и усиленно просил меня взять от него письмо, в котором говорит, что план нового моего романа был пересказан мною ему года четыре тому назад, прежде нежели он задумал о своей повести, даже сознался, что сходство есть и что, вероятно, у него многое бессознательно осталось в памяти” (VIII, 273). Этому письму Тургенева Гончаров в то время придавал большое значение: “Конечно, если я напишу роман, то такое письмо может оградить меня от подозрения” (там же). О примирении, состоявшемся тогда, свидетельствует и дружелюбное упоминание о Тургеневе в письме Гончарова П. В. Анненкову от 20 мая 1860 г. (“милый, всеобщий изменник и баловень”. — Там же. С. 274).

[28] Это письмо Тургенева не сохранилось.

[29] Ошибка памяти Гончарова: “Дворянское гнездо” было опубликовано в январе (Современник. 1859, № 1; ценз. разр. 1 января), т. е. до изложенных выше объяснений его с Тургеневым, а не после них (ср. примеч. 27).

[30] Близкая характеристика Белинского содержится в статье Гончарова “Заметки о личности Белинского” (1874).

[31] Тургенев сообщил Гончарову о замысле романа “Накануне”, вызвав этим новые подозрения: “...я было обрадовался, — писал ему Гончаров 28 марта 1859 г., — когда вы сказали, что предметом задумываемого Вами произведения избираете *восторженную* девушку, но вспомнил, что Вы — ведь дипломат: не хотите ли обойти, или прикрыть эпитетом другой (нет ли тут еще *гнезда*, продолжения его, то есть одного сюжета, разложенного на две повести и приправленного болгаром <...>” (VIII, 261).

[32] Гончаров усмотрел в судьбе героини “Накануне” аналогию с судьбой своей Веры, которая по первоначальному замыслу должна была последовать за Волоховым в Сибирь.

[33] Знакомство Гончарова с С. С. Дудышкиным состоялось летом 1835 г. в доме Майковых (*Летопись*. С. 20).

[34] Роман “Накануне” напечатан в январе-феврале 1860 г. (*РВ*. № 1—2; ценз. разр. 18 января и 3 февраля). 3 марта, прочитав “всего страниц сорок” этого романа, сюжет которого был ему давно известен из рассказа автора (см. примеч. 31), Гончаров написал Тургеневу письмо, внешне доброжелательное, но исполненное сарказма и весьма недвусмысленных намеков на плагиат (VIII, 280).

[35] Записка эта не сохранилась. Как и весь рассказанный здесь эпизод, она относится к концу марта 1860 г.

[36] Эта записка не сохранилась. Содержание ее неизвестно.

[37] Это объяснение, или “третейский суд”, как его принято называть, состоялось 29 марта 1860 г. в присутствии П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, С. С. Дудышкина и А. В. Никитенко (*Летопись*. С. 106—107; см. также вступит. статью к наст. публикации). Отметим, что поводом для него послужила не только опрометчивая выходка Дудышкина, но и обращенный к Тургеневу вопрос А. Н. Майкова по поводу “слухов” о плагиате, распространившихся в литературной среде (см. наст. том: *Гончаров — А. Н. Майкову*. Приложение: Письмо А. Н. Майкова Гончарову).

[38] Об этом письме Тургенева см. выше.

[39] “Третейский суд” отвел обвинение в плагиате, признав совпадения между романами Тургенева и “программами” Гончарова вполне закономерными, поскольку и те и другие возникли “на одной и той же русской почве” (*Летопись*. С. 107; см. также вступит. статью к наст. публикации).

[40] Еще до публикации “Накануне” Гончаров знал, что героем романа будет болгарин (см. примеч. 31).

[41] Речь идет о публикациях отрывков: «Софья Николаевна Беловодова. (Пять глав из романа “Эпизоды из жизни Райского”)» // Современник. 1860. № 2; То же // *ОЗ*. 1861, № 2. Приложение; «Бабушка (Из романа “Эпизоды из жизни Райского”» // *ОЗ*. 1861, № 1; «Портрет (Из романа “Эпизоды из жизни Райского”)» // *ОЗ*. 1861, № 2. 22 февраля 1860 г. Тургенев сообщил А. А. Фету, что на днях Гончаров прочел у П. В. Анненкова «удивительный отрывок вроде “Сна Обломова”» (*Тургенев. Письма*. Т. IV. С. 44). Речь шла об отрывке “Бабушка” (см. примеч. 79).

[42] Похороны А. В. Дружинина состоялись 21 января 1864 г. на Смоленском кладбище в Петербурге.

[43] Ошибка памяти Гончарова: “Ася” опубликована в начале 1858 г. (Современник. № 1), “Первая любовь” — в 1860 г. (*РВ*. № 3). В первой декаде марта 1860 г. Тургенев читал “Первую любовь” “ареопагу, состоявшему из Островского, Писемского, Анненкова, Дружинина и Майкова; приглашенный Гончаров пришел пять минут по окончании чтения” (*Тургенев. Письма*. Т. IV. С. 53—54). В августе 1860 г. Тургенев подарил Гончарову отдельный оттиск “Первой любви” (*Летопись*. С. 113).

[44] Речь идет о лете 1867 г., когда Гончаров дважды встречался с Тургеневым в Баден-Бадене: 24 июня и около 10 июля (*Летопись*. С. 166, 167).

[45] Около 10 июля 1867 г. Тургенев читал Гончарову и Е. М. Феоктистову “Историю лейтенанта Ергунова”. 16 июля Гончаров писал А. В. Никитенко об этом рассказе: “Лучше бы его не печатать, потому что действие происходит в доме публичных женщин. У него это не вышло неприлично, но сам предмет неприличен. Я хочу его остеречь, не знаю, послушает ли” (*РС*. 1914. № 4. С. 51—52). Повесть “Бригадир” (*ВЕ*. 1868. № 1) Гончаров читал в феврале 1868 г. и очень высоко оценил ее в письме к Тургеневу от 10 февраля, поставив в один ряд с “Записками охотника” (VIII, 324—325).

[46] Роман Тургенева “Отцы и дети” опубликован: *РВ*. 1862. № 2; “Дым” — там же. 1867. № 3.

[47] Хвалебный отзыв Гончарова о романе “Отцы и дети” не сохранился. К “Дыму” он отнесся резко отрицательно и, не дочитав его, высказал свое неодобрение Тургеневу во время их встречи в Баден-Бадене 24 июня 1867 г., а на следующий день — в письме к А. Г. Тройницкому (см. примеч. 66). Об упреке в заимствовании темы миража из “Обрыва” см. примеч. 54.

[48] Повесть “Вешние воды” опубликована: *ВЕ*. 1872. № 1.

[49] Тургенев отмечал в романах Гончарова длинноты, замедленное развитие сюжета (см., например, отзыв об “Обломове” — примеч. 20).

[50] Ср. с совершенно иным отзывом Гончарова о повести “Степной король Лир” (*ВЕ*. 1870. № 10) в его письме к С. А. Толстой от 11 ноября 1870 г.: «Как живо рассказано — прелесть! Этот рассказ я отношу к “Запискам охотника”, в которых Тургенев — истинный художник, творец, потому что он знает эту жизнь, видел ее сам, жил ею — и пишет с натуры, тогда как в повестях своих — он уже не творит, а сочиняет. Эти две головки, дочерей Лира, не правда ли живые, бежавшие из грезовских рамок! И очерчены так легко, почти без красок, будто карандашом: между тем — они перед глазами. — Да, Тургенев — трубадур (пожалуй, первый), странствующий с ружьем и лирой по селам, полям, поющий природу сельскую, любовь — в песнях отражающий видимую ему жизнь — в легендах, балладах, но не в эпосе» (VIII, 385). Известие о положительной оценке Гончарова дошло до Тургенева — 3 ноября 1870 г. он писал М. М. Стасюлевичу: “Я рад, что моя вещь понравилась Гончарову, он судья верный...” (*Тургенев. Письма*. Т. VIII. С. 305).

[51] Рассказ Тургенева “Гамлет Щигровского уезда” опубликован: Современник. 1849. № 2. Вошел в состав “Записок охотника”.

[52] Речь идет о переводе на французский язык первой части “Обломова” (перевод П. Артамова и Ш. Делена): “Une journée de M. Oblomof. Trad. du russe de Gontcharof, par P. Artamoff et Ch. Deulin // Revue de France. 1872. T. IV, décembre; 1873. T. V, mars; T. VII, juillet; T. VIII, octobre. Упомянутое письмо не сохранилось.

[53] Цитата из басни И. И. Дмитриева “Нищий и собака” (1803):

Наружность иногда обманчива бывает:

Иной как зверь, а добр; тот ласков, а кусает.

[54] Общий мотив миражности русской общественной жизни в “Дыме”, по мнению Гончарова, восходит к следующему рассуждению Райского (ч. II, гл. XX): “Но дела у нас, русских, нет <...> а есть мираж дела <...> У нас легко погнаться за всеми тремя зайцами и поспеть к трем — миражам” (Обрыв. СПб., 1870. Т. 1. С. 509, 510).

[55] Речь идет о книге французского литератора и переводчика С. Куррьера “История современной русской литературы”, изданной в Париже в 1875 г. Из современных русских писателей более всего внимание автора привлекает Тургенев, охарактеризованный как «глава “натуральной школы” в России». К этой же школе отнесен и Гончаров, романам которого “Обломов” и “Обрыв” посвящены две специальные главы. С. Куррьер проводит сравнительный анализ образов Рудина и Обломова. В понимании С. Куррьера Рудин — фразер, живущий более умом, нежели сердцем, в то время как Обломов живет своим “золотым сердцем”, чистым и благородным. Различие этих двух типов, по мнению критика, объясняется отчасти и различием художественных дарований Тургенева и Гончарова: первый — художник “ума”, второй — “сердца”. Типы, созданные Тургеневым, — живые, одушевленные, связанные с реальной действительностью; типы же Гончарова, отличающиеся тонким и деликатным рисунком, оторваны от живой жизни. Роман Гончарова охарактеризован как “живописный”, “художественный” роман (см.: *Courrière C*. Histoire de la littérature contemporaine en Russie. Paris, 1875. P. 288—289.

[56] Цитата из комедии Грибоедова “Горе от ума”, слова Репетилова (д. IV, явл. 4).

[57] Гончаров, очевидно, имеет в виду письма Тургенева от 21 июня / 3 июля и 11/23 ноября 1856 г. В первом из них Тургенев вспоминает, как Гончаров рассказывал ему “разные подробности” своего романа (см. примеч. 17). Во втором упоминает “прелестный роман”, замысел которого Гончаров однажды изложил ему и Дудышкину (автограф этого письма не сохранился. Известен только отрывок, процитированный Гончаровым. По этому источнику печатается в кн.: *Тургенев. Письма*. Т. III. С. 41).

[58] Персонажи ранних произведений Достоевского — повести “Двойник” и рассказа “Господин Прохарчин” (*ОЗ*. 1846. № 2 и 10). Гончаров ошибся в написании имени персонажа “Двойника” (у Достоевского — Голядкин).

[59] По-видимому, Гончаров действительно был мало знаком с произведениями Достоевского. В письме П. Г. Ганзену (17 июля 1878 г.) он признается, что не читал “Преступление и наказание”, хотя “все громко хвалят” этот роман, но, вместе с тем, очень высоко оценивает “Записки из Мертвого дома”: «Автор стоит высоко в литературе — и “Мертвый дом” его, по моему мнению, есть одно из капитальнейших произведений, давно заслуживающее перевода на все языки« (VIII, 470). В письме к Достоевскому от 14 февраля 1874 г. Гончаров анализирует “Маленькие картинки”, предназначенные для сборника “Складчина”. И, наконец, сравнительный анализ творческих индивидуальностей Достоевского и Салтыкова-Щедрина содержится в статье “Лучше поздно, чем никогда”: «Даже такие особые <...> своеобразные таланты, как Достоевский и Щедрин, не могли бы силою одного холодного анализа находить правды жизни — один в глубокой, никому, кроме его, недосягаемой пучине людских зол, другой в мутном потоке мелькающих перед ним безобразий. Один содрогается и стонет сам — содрогается от ужаса и боли его читатель, точно так же, как этот читатель злобно хохочет с автором над какой-нибудь “современной идиллией” или внезапно побледнеет перед образом “Иудушки”. Под этой мрачной скорбью одного и горячей злобой другого кипят свои “невидимые слезы”, прячется своя любовь, которая, вместе с другими силами творчества, лежит в основе талантов всех этих звезд первой величины» (VIII, 143—144).

[60] В данном случае утверждение Гончарова вступает в противоречие с реальными фактами, свидетельствующими, что он был достаточно хорошо знаком с творчеством Писемского. В 1858 г. Гончаров одобрил к печати роман “Тысяча душ”, в 1859 г. — “Горькую судьбину”, настаивая на публикации пьесы без цензурных сокращений (*Летопись*. С. 85, 98, 100—101), а в письме к П. В. Анненкову от 20 мая 1859 г. одобрительно отозвался о ней (VIII, 275). 23 апреля 1867 г. на заседании Совета Главного управления по делам печати он не согласился с запрещением пьесы Писемского “Поручик Гладков” и остался “при особом мнении, находя, что трагедия Писемского как талантливая историческая пьеса может украсить репертуар русского театра” (*Писемский*. С. 675; *Летопись*. С. 165). В 1874 г. Гончаров хлопочет о разрешении пьесы Писемского “Просвещенное время” (*Летопись*. С. 215) и положительно отзывается о ней в письме к Писемскому от 5 февраля 1875 г. (VIII, 476—478). Известны также отзывы Гончарова о пьесах “Подкопы” и “Ваал” (VIII, 394—395, 399—402). “Плотничью артель” Гончаров слышал в собственном исполнении автора в апреле 1855 г. (*Летопись*. С. 50). Писемский с благодарностью признавался в письме к Гончарову от 21 января 1875 г.: «Вы знаете, как я высоко ценю ваше литературное мнение, и как часто и много пользовался вашими эстетическими советами и замечаниями. Но помимо этого, вы были для меня спаситель и хранитель цензурный: вы пропустили 4-ю часть “Тысячи душ” и получили за то выговор. Вы “Горькой судьбине” дали возможность увидеть свет в том виде, в каком она написана» (*Писемский*. С. 284—285).

[61] Далее Гончаров неоднократно возвращается к этой мысли и подробно ее развивает.

[62] Карлсбадское сближение Гончарова с А. К. Толстым произошло в июне 1864 г. (*Летопись*. С. 138—139). О встречах с ним и его женой Гончаров упоминает также в письме к Тургеневу от 10 (22) февраля 1868 г. “Мы часто видимся с Алексеем Толстым: он с женой живет недалеко от меня на набережной, и имеет четверги. У него приятно, потому что не похоже на другие салоны. Гости разнообразные: музыка, чтения — все его любят, все идут к нему<...>” (VIII, 323).

[63] Драмы А. К. Толстого “Смерть Иоанна Грозного” и “Царь Федор Иоаннович” Гончаров слушал в авторском исполнении в июне 1864 г. и 1 марта 1868 г. (*Летопись. С.* 138—139, 169) и высоко оценил их. В письме к П. Г. Ганзену от 7 июля 1878 г. он рекомендует перевести эти драмы: «это два chef d’oeuvres, не оцененные, к несчастью, по достоинству, даже у нас <...> Эти две драмы можно поставить рядом подле “Бориса Годунова” Пушкина» (VIII, 467—468; см. также письма Гончарова к П. А. Вяземскому от 22 декабря 1865 и А. В. Никитенко от 7 января 1866 г. (*Летопись*. С. 151 и 152), а также письмо Толстого жене от 7 января 1866 г. — *Толстой А. К.* Полн. собр. соч. СПб., 1907. Т. IV. С. 411).

[64] 28 марта 1868 г. Стасюлевич писал жене: “Гончаров под величайшим секретом читал у графа Толстого свой роман <...> Прочли несколько глав, но, выслушав такую вещь, нет возможности ничего больше помещать в журнале по беллетристике. Это прелесть высокого калибра! Что за глубокий талант! Одна сцена лучше другой... Чрезвычайно оригинальная постройка, и забавно то, что автор, как и сам герой его романа, не замечал, что роман его кончен, а ему все кажется, что нужно кончить роман” (*Стасюлевич*. Т. IV. С. 1). Чтение романа в доме А. К. Толстого продолжалось 30 марта, 3 и 11 апреля; последнее чтение — 12 апреля — состоялось на квартире у Гончарова на Моховой (Там же. С. 1—3).

[65] Стасюлевич уговаривал Гончарова отдать роман после его завершения для публикации в “Вестник Европы”; Н. А. Некрасов просил “Обрыв” для “Современника”. После долгих уговоров Гончаров принял предложение Стасюлевича.

[66] Гончаров писал А. Г. Тройницкому 25 июня 1867 г.: «...в “Дыме” я пробежал первые

главы и лишь только дошел до любви, мне стало частию беспокойно, частию противно. И вот книжка лежит недочитанная, о чем я и объявил вчера вечером откровенно автору. Первые же сцены возмущают меня не тем, что русское перо враждебно относится к русским людям, беспощадно казня их за пустоту, а тем, что это перо изменило тут автору, искусству. Оно грешит какою-то тупою и холодною злостью, грешит неверностью, т. е. отсутствием дарования. Все эти фигуры до того бледны, что как будто они выдуманы, сочинены. Ни одного живого штриха, никакой меткой особенности, ничего, напоминающего физиономию, живое лицо: просто по трафарету написанная кучка нигилистов. *Это я тоже сказал автору*» (*ВЕ*. 1908. № 12. С. 450—451).

[67] 22 января 1868 г. Гончаров получил от Тургенева экземпляр отдельного издания романа “Дым” (*Летопись*. С. 168).

[68] Это свидетельство Гончарова не подкрепляется другими источниками.

[69] Гончаров имеет в виду свои письма к М. М. Стасюлевичу от 26 и 27 сентября 1868 г., в которых он просит его не помещать в “Вестнике Европы” объявления о предстоящей публикации “Обрыва”, а также опровергнуть аналогичное сообщение “С.-Петербургских ведомостей” от 26 сентября 1868 г. (*Стасюлевич*. Т. IV. С. 49—51). Однако Стасюлевичу удалось преодолеть колебания Гончарова. В конце октября между ними было заключено соглашение об условиях приобретения “Обрыва”, и объявление о публикации романа появилось в ноябрьской книжке “Вестника Европы”. Роман напечатан в №№ 1—5 журнала (1869).

[70] В письме к М. М. Стасюлевичу от 19 июня 1868 г. Гончаров также высказывает опасение, что Тургенев позаимствует сюжетные мотивы и образы из “Обрыва” (VIII, 399).

[71] Гончаров усматривал жанровую общность между повестями Тургенева “Бригадир” и “Степной король Лир”, опубликованными в “Вестнике Европы” (1868. № 1; 1870. № 10). В “Вестнике Европы” в 1870-е годы были опубликованы также “Странная история”, “Стук!.. стук!.. стук!..”, “Вешние воды” и другие повести Тургенева.

[72] Подразумеваются гр. С. А. Апраксин и супруги Е. М. и С. А. Феоктистовы. 4/16 июня 1869 г. Гончаров жаловался С. А. Никитенко на то, что эти люди якобы специально подосланы, чтобы подслушивать и записывать его разговоры (VIII, 363—364).

[73] Заграничные письма Гончарова к Тургеневу за 1865—1866 гг. вполне дружелюбны. Очевидно, подозрения, что Тургенев выведывает его творческие замыслы при посредстве подставных лиц, возникли позднее.

[74] См. примеч. 55.

[75] Это письмо не сохранилось.

[76] Речь идет о поездках в Баден-Баден летом 1867 г. (см. примеч. 44).

[77] Ошибка памяти Гончарова: в июле 1867 г. Тургенев читал ему не “Бригадира”, а “Историю лейтенанта Ергунова” (см. примеч. 45).

[78] В целом Тургенев оценил “Обрыв” отрицательно (см. примеч. 206). Однако отрывок “Бабушка”, прослушанный им в чтении Гончарова в феврале 1860 г., он назвал “удивительным” (см. примеч. 41; VIII, 280) и через год, перечитав его снова (*ОЗ*. 1861. № 2) повторил эту оценку в письме к П. В. Анненкову от 15/27 февраля 1861 г.: «А гончаровский отрывок в “От<ечественных> записках” я прочел и вновь умилился. Это прелесть!» (*Тургенев. Письма*. Т. IV. С. 199).

[79] Эти обвинения Гончарова не имеют реальных оснований.

[80] 3 августа 1872 г. Гончаров писал из Булони М. М. Стасюлевичу, приславшему ему парижский адрес Тургенева: “Зачем я ему и зачем он мне? <...> Я свидания с ним искать не

буду” (*Стасюлевич*. Т. IV. С. 141—143).

[81] См. примеч. 6.

[82] 1/13 октября 1868 г. Тургенев читал повесть “Несчастная” у Милютиных в Баден-Бадене и 3/15 ноября отправил ее в Петербург П. В. Анненкову с просьбой обсудить ее в кругу друзей, что и было сделано (*Тургенев. Письма*. Т. VII. С. 222, 234—235). Стасюлевич среди петербургских слушателей повести не упоминается. “Несчастная” опубликована: *РВ*. 1869. № 1 (одновременно с появлением в печати первой части “Обрыва”).

[83] Реальным прототипом героини повести “Несчастная” послужила Эмилия Гебель, трагически погибшая в июне 1833 г. в результате несчастной любви. Тургенев был знаком с ней в юности (*Тургенев. Соч*. Т. X. С. 458).

[84] Этот факт не подтверждается другими источниками.

[85] Ошибка памяти Гончарова (см. примеч. 82).

[86] Роман Б. Ауэрбаха “Дача на Рейне” (пер. С. А. Никитенко) был напечатан (*ВЕ*. 1868. № 9—12; 1869. № 1—2) по рекомендации и при содействии Тургенева. Эта публикация предваряла первое немецкое издание романа (1869). Предисловие (*ВЕ*. 1868. № 9. С. 5—10) было подписано именем Тургенева и перепечатывалось с его подписью в отдельных русских изданиях романа (напр.: *Ауэрбах Б*. Дача на Рейне. Роман в пяти частях. С предисл. И. С. Тургенева. СПб., 1869. Т. I. С. 1—6). В настоящее время вопрос об авторстве Тургенева оспаривается. Ученые склоняются к мнению, что предисловие было написано им в соавторстве с Л. Пичем. По мнению Ю. Д. Левина, предисловие является “вольным переводом немецкого текста, который составил для Тургенева Пич” (*Левин Ю. Д.* О предисловии к русскому изданию романа Б. Ауэрбаха “Дача на Рейне” // Тургеневский сборник. Л., 1968. Вып. IV. С. 177). Решающее значение для установления автора предисловия имеют слова Тургенева, которые приводит Гончаров через несколько страниц: “Не я писал, я только подписал его, почти не читая!”.

[87] М. М. Стасюлевич писал А. К. Толстому 10 мая 1869 г., что благодаря “Обрыву” к 1 мая число подписчиков его журнала достигло 5200 против 3700 в 1868 г. (*Стасюлевич*. Т. II. С. 331).

[88] См. примеч. 86.

[89] “Воспоминания о Белинском” Тургенева опубликованы: *ВЕ*. 1869. № 4. Слова о “смотре всем живым литераторам” относятся к следующему месту этих “Воспоминаний”: “...при появлении нового дарования, нового романа, стихотворения, повести — никто, ни прежде Белинского, ни лучше его, не произносил правильной оценки, настоящего, решающего слова. Лермонтов, Гоголь, Гончаров — не он ли первый указал на них, разъяснил их значение? И сколько других” (*Тургенев. Соч*. Т. XIV. С. 32).

[90] 18 января 1870 г. Гончаров просит М. М. Стасюлевича прислать ему отдельное издание романа Б. Ауэрбаха “Дача на Рейне” (*Стасюлевич*. Т. IV. С. 91—93). Отзыв о “Даче на Рейне” содержится в письме Гончарова к С. А. Никитенко от 26 августа / 7 сентября 1870 г., следовательно, к этому времени Гончаров уже был хорошо знаком с этим романом (VIII, 383).

[91] В письмах Гончарова конца 1860-х — 1870-х годов нередки жалобы на неведомых врагов, плетущих вокруг него интриги и заговоры, тайно следящих за ним, выведывающих его литературные замыслы, разыгрывающих с ним сцены из его же романов, затевающих с ним “комическую переписку” и т. д. — словом, всячески стремящихся помешать ему писать. К числу своих тайных врагов за границей Гончаров, в частности, относил чету Феоктистовых, С. Апраксина, некую Аграфену Николаевну. 4/16 июня 1869 г. Гончаров признается С. А. Никитенко: “Мнительность — это мой природный и наследственный недуг (мать моя была мнительна) — развилась благодаря моим ближним и всем тем фантасмагорическим

обстоятельствам, которыми они окружали и казнили меня много лет, развилась во мне до такой болезненной степени, что я серьезно боюсь иногда за свой рассудок” (VIII, 361). Об Аграфене Николаевне см.: *Гончаров И. А.* Письмо к С. А. Никитенко. Публ. Л. С. Гейро // *Ежегодник ПД на 1976 г*. С. 190—192.

[92] Цитата из Библии. Ср.: “... Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят издали” (Псалтирь. 37.12).

[93] Рассказы “Странная история” и “Стук!.. стук!.. стук!..” впервые опубликованы: *ВЕ*. 1870. № 1; 1871. № 1. Фабульная основа “Странной истории” жизненна: героиня рассказа имела реальный прототип. Трудно сказать, какое произведение Тургенева подразумевал Гончаров под “Фразером”.

[94] Сохранились черновые заметки Гончарова, посвященные сопоставлению текстов “Обрыва” и “Дачи на Рейне”. Гончаров усматривает определенное сходство между образами, сюжетами, мотивами, отдельными сценами, описаниями и т. д., а также общей идеей обоих романов. “Но задача одна, — пишет Гончаров, — борьба со страстью, препятствие, религиозный разлад, свадьба наивной, неспособной к любви Лины, бабушка, профессор, учитель Кнопф (Козлов), даже в разговоре последнего с Эрихом есть намек на Козлова с Райским — тоже о древности, о греках и римлянах”. И как итог сопоставлений: «Цель этого заговора, конечно, чтобы доказать, что “Двор<янское> гн<ездо>” ниоткуда не заимствовано; а вот — мол — и твой “Обрыв” есть не что иное, как программа “Дачи на Рейне”» (*Утевский*. С. 760, 762).

[95] См. примеч. 86. О встрече с Тургеневым “по поводу Макарова” см. примеч. 96.

[96] Описанная ниже случайная встреча с Тургеневым в Петербурге произошла, очевидно, между 7/19 мая (приезд Тургенева в Петербург из-за границы) и 27 мая / 8 июня 1874 г. (отъезд из Петербурга в Москву. *Клеман*. С. 224—225). О ней Тургенев писал П. В. Анненкову 12/24 июня 1874 г.: “Расскажу я Вам мою фантастическую встречу с Гончаровым на улице в Петербурге!! Теперь он укоряет меня в том, что я все мысли его произведений выкрадываю и передаю — кому? Французским романистам, все сочинения которых будто бы ни что иное, как *худо скрытое подражание* “*Обломову*” *и* “*Обрыву*”. И для чего я это делаю? Для того, чтобы сделать невозможными переводы его романов <...> и таким образом сохранить в глазах французов первенство в русской литературе! Бедный Гончаров кончит сумасшедшим домом (*Тургенев. Письма*. Т. X. С. 250).

[97] Как видно из последующего текста, речь идет о романах Г. Флобера (см. примеч. 103—105, 108, 111—115).

[98] Об отношении Тургенева к Л. Н. Толстому см. во вступ. статье к наст. публикации.

[99] Возможно, под “К. О.” Гончаров подразумевал князя В. Ф. Одоевского.

[100] Гончаров перефразирует известное выражение “L’Etat c’est moi” (“Государство — это я”), приписываемое королю Людовику XIV.

[101] Речь идет об упомянутых ниже письмах Тургенева к Гончарову, в которых он отводит обвинение в плагиате (см. примеч. 27).

[102] Возможно, что слухи об этой встрече, а также о намерении Гончарова письменно изложить историю своих отношений с Тургеневым стали к середине 1870-х годов уже известны в литературных кругах. В феврале 1876 г. Тургенев писал А. С. Суворину: “То, что Вы сообщили мне о Гончарове, возбуждает во мне искреннее сожаление; в последнем нашем свидании в Петербурге он прямо в лицо обвинил меня в фантастических замыслах против его литературной чести и т. п. Я думал, что с тех пор это все угомонилось, но, к сожалению, вижу, что нет” (*Тургенев. Письма*. Т. XI. С. 221). См. также примеч. 96.

[103] После выхода в свет романа “Госпожа Бовари” (1857) Флобер был привлечен за него к суду по обвинению в оскорблении общественной нравственности и религии. Громкий судебный процесс, в результате которого писатель был оправдан, способствовал росту популярности романа и его автора. Об этом см.: *Золя Э.* Парижские письма // *ВЕ*. 1875. № 11. С. 413—414.

[104] Э. Золя в “Парижских письмах” отмечает типичность характера главной героини романа Флобера: «Личность m-me Бовари, — тип, без сомнения, наблюденный и выхваченный из жизни Флобером, — поступила в разряд великих типов человеческого творчества. “Это — Бовари”, — говорят подобно тому, как в семнадцатом столетии говорили: “Это Тартюф”. А это потому, что m-me Бовари, несмотря на всю ее характерность, представляет общий тип <...> Она — женщина, выбитая из своей колеи, недовольная своей судьбой, испорченная вздорной сентиментальностью, выбитая из роли жены и матери. Она — женщина, роковым образом осужденная на позорную любовь. Наконец она тип беззаконной любви, падения, сперва робкого и поэтичного, затем торжествующего и наглого <...> Она умирает от глупости своей среды”» (*ВЕ*. 1875. № 11. С. 411—412).

[105] Речь, очевидно, идет о следующих строках из “Парижских писем” Э. Золя: «...какие страшные и трогательные слова, слова, сказанные Бовари Рудольфу, по смерти жены: “Я не сержусь на вас”. В этом высказался весь горемыка. В нашей литературе не существует слова, более глубокого, более обнажающего бездну слабости и доброты, недрящихся в сердце человеческом» (*ВЕ*. 1875. № 11. С. 412—413).

[106] См. примеч. 52.

[107] “Обломов” был переведен на немецкий язык в 1868 г. См.: *Gontscharow*. Oblomow. Russisches Lebensbild. Deutsch von B. Horsky. Leipzig, Kolmann, 1868.

[108] Первое издание романа Флобера “L’éducation sentimentale” было выпущено в ноябре 1869 г. в Париже М. Леви. Очевидно, Гончаров имеет в виду это издание.

[109] См. примеч. 55. В статье “Лучше поздно, чем никогда” Гончаров вспоминает о сравнительной характеристике его и тургеневского талантов в книге С. Куррьера: “Недаром в одной писанной за границею на французском языке истории новой русской литературы сказано <...> между прочим обо мне, что я писал сердцем, а сознательный ум, идею автор приписывает другим и ставит это в искусстве выше образа, живописи и прочее. Словом, автор клонит свою критику в сторону реализма” (VIII, 140). Тургенев был знаком с С. Куррьером, французским литератором и переводчиком, долго жившим в России, однако он не только не “подшептал” Куррьеру книгу “История современной русской литературы”, но, напротив, отрицательно оценил ее в письме к А. С. Суворину 1875 г.: “Куррьер <...> кое-чего нахватался в бытность свою на Руси — но все это очень спешно, поверхностно и написано плохим — не литературным — языком” (*Тургенев. Письма*. Т. XI. С. 51).

[110] Роман Г. Флобера “Саламбо” (“Salammbô. Paris, 1862; рус. перевод — 1863) вышел уже после “Госпожи Бовари”.

[111] Этот факт неизвестен.

[112] Ошибка памяти Гончарова. В январской и февральской книжках *ВЕ* за 1870 г. появился не перевод романа Флобера “Воспитание чувств”, а подробная статья А. С-на (А. С. Суворина), ему посвященная: «Французское общество в новом романе Густава Флобера (L’éducation sentimentale. Histoire d’un ieune homme par Gustave Flaubert. 2 vol. Paris. 1869)», с обширными выдержками из романа.

[113] Гончаров, очевидно, имеет в виду следующее суждение А. Суворина в упоминавшейся выше (примеч. 112) статье: “Не знаем, приходили ли нашим читателям на мысль некоторые

сравнения между лицами романа Флобера и лицами наших русских известных романов, но нам многие из них напомнили родное, особенно Фредерик; не есть ли это представитель того разряда характеров, которые у нас известны под именем людей сороковых годов? То же поклонение искусству во всех видах и формулах, тот же избыток чувства, то же отсутствие инициативы и упорства в достижении целей, великодушные порывы, трудно объяснимые, рядом с таким же равнодушием, порядочность и благородство рядом с поступками, отнюдь не делающими чести порядочному и благородному человеку. Фредерик иногда невыразимо гадок и пошл, а иногда внушает к себе сострадание. Он напоминает хорошо знакомого нашим читателям Райского с тем различием, что Флобер отнесся еще объективнее к своему герою, чем наш почтенный романист” (*BE*. 1870. № 2. С. 822).

[114] Гончаров имеет в виду следующие слова автора статьи “Французское общество в новом романе Густава Флобера”: “Тургенев совершенно справедливо сказал в прошлом году в предисловии к русскому переводу романа Максима Дюкана “Утраченные силы”, что “Г-жа Бовари” — бесспорно, самое замечательное произведение новейшей французской школы» (*BE*. 1870. № 1. С. 272). Предисловие Тургенева к переводу романа Максима Дюкана впервые было опубликовано в издании: Собрание иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык, издаваемое Е. Н. Ахматовой. СПб., 1868. Т. I. С. 5—11.

[115] В “Корреспонденции из Парижа” (*BE*. 1870. № 1) роман Флобера “Воспитание чувств” отнесен к числу наиболее значительных произведений современной французской литературы: «В своем новом романе, — говорится в корреспонденции, — Флобер остается одним из мастеров языка, это совершеннейший художник — в искусстве передавать несколькими словами фигуру, характер, или несколькими трезвыми, но резкими штрихами очерчивать положение. У него нет ни могущественной, а порою и чудовищной рельефности Виктора Гюго, ни магического колорита Теофиля Готье, но он отлично умеет находить черты в одно время и самые верные, и самые живописные, бросать на свои картины свет внезапный, сильный и точный. В этих отношениях он и в “Education sentimentale”, как и в прежних романах, не ниже самого себя, а, пожалуй, и выше» (*BE*. 1870. № 1. С. 452).

[116] В подстрочном примечании к “Корреспонденции из Парижа” (см. примеч. 115) приводится сочувственный отзыв Ж. Санд о романе Флобера: “Роман, говорит знаменитая писательница нашего времени, новая победа ума. Он потерял бы свой смысл, если б не последовал за движением эпох, которые он должен постоянно воспроизводить <...> Мы не в праве требовать от художника, чтоб он рассказал нам будущность; но мы можем отблагодарить его за то, что он написал твердою рукою критику прошедшего” (*BE*. 1870. № 1. С. 452—453).

[117] Речь идет о статье Н. Нелюбова (псевд. Г. А. Лароша) “Роман во Франции” (*PB*. 1870. № 8. С. 640—682), посвященной подробному анализу романа “Воспитание чувств”. По мнению критика, этот роман “соединяет в себе блестящие качества французских писателей с простотой и естественностью, какие мы привыкли встречать у представителей нашей литературы” (там же. С. 642). Здесь же дан сочувственный отзыв о романе “Госпожа Бовари”, который отличается “верностью действительности и замечательной наблюдательностью” (там же). Статья Лароша (Н. Нелюбова) “Новый роман Гончарова” опубликована: *PB*. 1869. № 7. С. 335—378. Автор критически отнесся к “Обрыву”.

[118] В примечании к одной из страниц своего романа Ж. Санд упоминает роман “Рудин”: «Иван Тургенев, хорошо знающий Францию, мастерски изобразил русского интеллигентного человека, который не может найти места в России, потому что у него душа француза. Перечитайте последние страницы восхитительного романа Тургенева “Дмитрий Рудин”» (*Sand Georges*. Francia. Paris. 1872. P. 24). Сведений о том, что сюжет этого романа был сообщен

Ж. Санд Тургеневым, обнаружить не удалось: в данном издании нет предисловия.

[119] Выражение восходит к Новому Завету; ср.: Лк. 14:24; Мф. 13: 57; Мк. 6:4; Ин. 4:44.

[120] Вероятно, речь идет об очерке “Iwan Turgenijew” немецкого критика Юлиана Шмидта. Краткое содержание его приведено в статье: *П. Л*. Критика русских писателей в Германии (Ivan Turgenijew von Julian Schmidt) // *BE*. 1868. № 12. С. 909—916 (автор — Л. А. Полонский).

[121] Эта телеграмма нами не обнаружена.

[122] В 1872 г. русская литературная общественность решила отметить двадцатипятилетие со дня публикации первого рассказа “Записок охотника” (“Хорь и Калиныч”. — Современник. 1847. № 1) и предстоящее двадцатилетие выхода в свет отдельного издания “Записок охотника”. В открытом письме редактору “С.-Петербургских ведомостей” от 21 апреля 1872 г. Тургенев официально отказался от празднования юбилея, аргументируя свой отказ тем, что “уже и так сверх меры награжден сочувствием <...> читающей публики” (*СПб. вед*. 1872. 27 апреля. № 114; *Тургенев. Соч*. Т. XV. С. 162). Тургенев писал П. В. Анненкову по этому поводу: “В подобных затеях есть что-то наполовину детское, наполовину варварское — да и отчего же тогда не праздновать 25-летие Гончарова, Некрасова, Григоровича? Нет, нет, у меня и без того довольно недоброжелателей” (*Тургенев. Письма*. Т. IX. С. 262).

[123] О каком фельетоне идет речь, установить не удалось.

[124] Речь идет о Н. Н. Тютчеве.

[125] См. примеч. 113 и 116.

[126] В 1875—1880 гг. “Парижские письма” Э. Золя по рекомендации Тургенева печатались в “Вестнике Европы”. В 1875 г. здесь была опубликована серия “Писем”, посвященных современным французским писателям. Статья Золя “Эдмон и Жюль Гонкуры” напечатана: *BE*. 1875. № 10.

[127] В статье “Флобер и его сочинения” (“Парижские письма”. VIII) Золя характеризует Флобера как главу “реалистического движения во Франции”: “Когда появилась “Madame Bovary”, она произвела настоящий литературный переворот. Казалось, формулы новейшего романа, рассеянные в колоссальном творении Бальзака, резюмированы и ясно изложены на четырехстах страницах нового романа. Кодекс новейшего искусства был написан. “Madame Бовари” отличалась ясностью и мастерством, делавшим этот роман типом, образцом этого рода. Романистам оставалось только идти по указанному пути, удерживая свой личный характер и пытаясь делать личные открытия <...> Он (Флобер. — *Н. Б*.) расчистил и осветил непроходимый лес Бальзака <...> произнес верное и правдивое слово, которого все дожидались <...> нашел средство изобрести новый род и положил основание новой школы <...> он стоит во главе современных романистов и в его произведениях <...> изложены законы натуральной школы” (*BE*. 1875. № 11. С. 401—402, 404).

[128] В той же статье (см. примеч. 127) подробно охарактеризованы особенности художественной манеры и методы творчества Флобера, который, как известно, долго и тщательно обрабатывал свои рукописи, причем писанию связного текста предшествовал обычно длительный период подготовительной работы: создание предварительных заметок, набросков и других черновых материалов (*BE*. 1875. № 11. С. 407—429). Подобная методика писательской работы была характерна также для Гончарова и Тургенева.

[129] Это письмо неизвестно. Очевидно, имеется в виду расхожая идея о типичности образов, созданных Шекспиром и встречающихся в повседневной жизни на каждом шагу. Эту мысль высказывали многие писатели, в том числе и Гончаров. В статье “Опять Гамлет на русской сцене” (1874) он писал, в частности: “Типичен Лир, типичен Отелло — их черты и признаки

более или менее рассеяны в людской толпе. Надо было только руку Шекспира, чтобы отлить в громадные фигуры бесчисленные типы и типики, являющиеся там и сям среди людей” (VIII, 205; ср. в статье “Лучше поздно, чем никогда” — там же. С. 139). Близкую мысль высказывает Тургенев во вступлении к “Степному королю Лиру”: «Беседа зашла о Шекспире, об его типах, о том, что они глубоко и верно выхвачены из самых недр человеческой “сути”. Мы особенно удивлялись их жизненной правде, их повседневности, каждый из нас называл тех Гамлетов, тех Отелло, тех Фальстафов, даже тех Ричардов Третьих и Макбетов <...> с которыми ему пришлось сталкиваться» (*Тургенев. Соч*. Т. X. С. 186).

[130] Повесть Ф. Э. Ромера (Гончаров ошибочно называет его: Ремер) “Дилетанты-строители” была опубликована: *ВЕ*. 1872. № 4—6. Трудно сказать, какие аналогии с “Обрывом” усмотрел Гончаров в этой повести из современной русской жизни. Возможно, ее герой Евгений Изгоев, молодой отрицатель, напомнил ему Марка Волохова,

[131] Охлаждение в отношениях Гончарова к М. М. Стасюлевичу началось в ноябре — декабре 1869 г. Поводом для него послужила публикация (*ВЕ*. 1869. № 11) статьи Е. И. Утина “Литературные споры нашего времени” с неблагоприятным отзывом об “Обрыве”.

[132] Гончаров имеет в виду персонаж повести Тургенева “Пунин и Бабурин” (*ВЕ*. 1874. № 4) — мещанина Бабурина, который изображен любителем русской поэзии XVIII в. Замысел очерка Гончарова о любителе поэзии, “из простых”, не был осуществлен. В сб. “Складчина” (СПб., 1874) помещен очерк писателя “Из воспоминаний и рассказов о морском плавании”.

[133] Очерк Тургенева “Наши послали” впервые опубликован: Неделя. 1874. 24 марта. № 12.

[134] Очерк Тургенева “Довольно! Отрывок из записок умершего художника” впервые опубликован: Сочинения И. С. Тургенева (1844—1864). Изд. бр. Салаевых. Карлсруэ, 1865. Т. 5.

[135] Имеется в виду А. К. Толстой.

[136] Речь идет о рассказе Тургенева “Конец Чертопханова” (*ВЕ*. 1872. № 11). В “Сочинениях” 1874 г. вставлен в цикл “Записки охотника” после рассказа “Чертопханов и Недопюскин”.

[137] Очевидно, Гончаров имеет в виду следующую фразу из письма к нему Тургенева от 8/20 марта 1857 г.: “...даже гадко подумывать о том, что когда-то сам подливал своего доморощенного масла в эту неуклюжую машину, называемую русской литературой!!” (см. примеч. 194).

[138] О сопоставлении С. Куррьером романов “Обломов” и “Рудин” см. примеч. 55. С. Куррьер сопоставляет также в своей книге образы молодых нигилистов в романах “Отцы и дети” и “Обрыв”. Критик отдает предпочтение Базарову, так как его создатель сумел подойти к своему герою достаточно объективно и беспристрастно, в то время как Гончаров, рисуя Марка Волохова, впадает в шарж и карикатуру. С. Куррьер называет таланты Тургенева и Гончарова “огромными” (*Courrière C.* Histoire de la littérature contemporaine en Russie. Paris, 1875. P. 337—338).

[139] По-видимому, под этим названием подразумевается статья “Лучше поздно, чем никогда” (см. примеч. 6). Здесь впервые была сформулирована мысль Гончарова о трех эпохах, отраженных в его трилогии.

[140] Ср. признание Гончарова в письме к М. М. Стасюлевичу от 22 марта 1875 г.: “Я совещусь появляться вновь и вновь в печати все с старыми да старыми вещами, а нового ничего нет. По этой самой причине я не решаюсь печатать и полное собрание своих сочинений” (*Стасюлевич*. Т. IV. С. 136).

[141] Выражение это приписывают св. Блаженному Августину (354—430). Как юридическое

правило восходит к античным мыслителям.

[142] Слова князя Святослава, обратившегося к своим воинам перед битвой с греками в 970 г.: “Да не посрамим земли Русския, но ляжем костьми ту: мертвыи бо срама не имут” (Преподобного Нестора Российский живописец (по Кенигсбергскому списку). СПб., 1863. С. 54).

[143] Роман Э. Гонкура (1822—1896) “Жермини Ласерте” был опубликован в переводе на русский язык: *ВЕ*. 1875. № 10. Тургенев писал Э. Гонкуру 14/26 октября 1875 г.: «Вот Вы и входите в моду в России <...> Уже переведены “Жермини Ласерте”, “Рене Мопрен”, за ними пойдут и остальные Ваши романы. Я к этому тоже немного приложил руку» (*Тургенев. Письма*. Т. XI. С. 32, 142).

[144] См. примеч. 2.

[145] Полина (Пелагея) Ивановна Тургенева (в замужестве Брюэр; 1842—1919) — внебрачная дочь Тургенева и вольнонаемной белошвейки, служившей у В. П. Тургеневой; до 1850 г. жила в Спасском, затем была отправлена отцом в Париж, где воспитывалась сначала в семье Виардо, а затем в пансионе. В 1865 г. вышла замуж за фабриканта Г. Брюэра; разошлась с ним. Имела двоих детей. О ней подробно см.: *Бронь Т. Н.*Тургенев и его дочь Полина Тургенева-Брюэр // Тургеневский сборник. М.; Л., 1966. Вып. II. С. 324—338.

[146] В 1861 г. Тургенев уходит из “Современника” и порывает по идеологическим мотивам многолетние дружеские отношения с Н. А. Некрасовым. Поводом для этого послужила статья Н. А. Добролюбова “Когда же придет настоящий день?” (Современник. 1861. № 3), в которой роман “Накануне” был истолкован с революционно-демократических позиций. О конфликте см. письмо Тургенева издателю “Северной пчелы” от 10 декабря 1862 г. (*Тургенев. Соч*. Т. XV. С. 142—143).

[147] Ссора между Тургеневым и Л. Н. Толстым, едва не закончившаяся дуэлью, произошла 27 мая / 8 июня 1861 г. В основе ее лежали разногласия нравственно-философского характера. Поводом к ссоре послужили споры о воспитании дочери Тургенева и о благотворительной деятельности. После ссоры последовал перерыв в отношениях, продолжавшийся семнадцать лет. В 1878 г. по инициативе Толстого дружеские отношения были возобновлены, и Толстой 8 августа 1878 г. специально приехал в Тулу, чтобы встретить возвращавшегося в Россию Тургенева. Для Тургенева и Толстого — при всех колебаниях в их личных отношениях — был характерен постоянный и неизменный творческий интерес друг к другу.

[148] Тургенев познакомился с А. К. Толстым в 1852 г. Толстой, используя свои связи при дворе, способствовал прекращению спасской ссылки Тургенева. Впоследствии писателей связывали дружеские отношения, они встречались в Петербурге и за границей. В написанном в 1875 г. “Письме к редактору (“Вестника Европы”. — *Н. Б.*) по поводу смерти гр. А. К. Толстого” Тургенев дал высокую оценку личности Толстого и с сочувствием отозвался о его творчестве (*Тургенев. Соч*. Т. XIV. С. 224—226).

[149] Письмо Тургенева к Гончарову с отзывом о постановке в Веймаре в 1868 г. драмы А. К. Толстого “Смерть Иоанна Грозного” (пер. К. К. Павловой) не сохранилось.

[150] В предисловии (“Вместо вступления”) к “Литературным и житейским воспоминаниям” (1869) Тургенев следующим образом объясняет причины своего отъезда за границу: “...почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования, отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог <...> Я бросился вниз головою в “немецкое море”, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн — я все-таки очутился “западником” и остался им навсегда” (*Тургенев. Соч*. Т. XIV. С. 9).

[151] К рукописи приложено “Примечание” с соответствующими распоряжениями автора.

[152] По-видимому, Гончаров имеет в виду так называемый “Большой алфавит” III Отделения, куда заносились сведения секретных наблюдений за “неблагонадежными” лицами.

[153] В данном случае Гончаров противопоставляет мудрый жизненный принцип римского поэта Горация лакейскому идеалу “умеренности и аккуратности” Молчалина, персонажа комедии А. С. Грибоедова “Горе от ума” (д. III, явл. III).

[154] Подразумевается Александр II.

[155] При Николае I был издан указ от 2 апреля 1842 г. об “обязанных крестьянах”, который давал помещикам возможность, сохраняя право собственности на землю, заключать с крестьянами, получавшими личную свободу, договоры об определении размера повинностей за землю, предоставленную им в пользование. В 1847 г. Николай I принял депутатов от смоленских дворян и попросил у них поддержки в реализации его намерения по обращению крепостных крестьян в “обязанных”, а также призвал дворян руководствоваться — каждого “отдельно” — указом от 2 апреля 1842 г. об “обязанных крестьянах”.

[156] Свидетельство Гончарова об обвинениях, якобы предъявляемых ему “консервативной партией”, не подкрепляется другими источниками.

[157] В «Предисловии к роману “Обрыв”» (1869) Гончаров неоднократно высказывает мысль о том, что передовые деятели и литераторы 1830—1840-х годов подготовили осуществление крестьянской реформы и демократических преобразований в России конца 1850-х — 1860-х годов. Так, в частности, он пишет: “Белинскому, Грановскому и прочим вокруг них приходилось рассеивать мрак не одного эстетического неведения, а бороться с непробудной помещичьей, общественной, народной тьмой, будить умы от непробудного сна. Всем им <...> выпадало ратовать против многообразного зла, косневшего еще в принципах, вроде, например, того, что помещики не имеют права грабить и засекать крестьян, родители считать детей, а начальники подчиненных — своею собственностью и т. д.” (VI, 434; ср.: VI. С. 433).

[158] Этот эпизод подробно освещен в наст. томе: *Гончаров* — А. Н. *Майкову*, п. 8—10.

[159] Отдельное издание очерков «Фрегат “Паллада”» вышло 10 мая 1858 г. 11 июня министр народного просвещения Е. П. Ковалевский по просьбе Гончарова пересылает экземпляр книги для поднесения Александру II (*Летопись*. С. 82). Местонахождение экземпляра, поднесенного вел. кн. Константину Николаевичу, неизвестно.

[160] Еще до выхода отдельного издания “Обломова” (ценз. разр. 8 мая 1859 г.) министр народного просвещения Е. П. Ковалевский дважды (25 февраля и 27 апреля) докладывал о романе Александру II, охарактеризовав его, как произведение, выходящее “из ряда обыкновенных явлений беллетристики”, являющееся “капитальным приобретением” русской литературы, несмотря на “некоторые длинноты и отсутствие движения” (*Летопись*. С. 91, 94).

[161] Это болезненное состояние Гончарова отразилось в его письмах конца 1860-х — начала 1870-х годов. 18 апреля 1869 г. А. К. Толстой писал М. М. Стасюлевичу: “...он предполагает против себя какой-то заговор в публике, систематически учрежденное над ним шпионство и таинственное мщение неизвестных, но очень влиятельных лиц” (*Стасюлевич*. Т. II. С. 329).

[162] Несмотря на, казалось бы, такое непримиримое отношение Гончарова к отрицанию и анализу, он высоко ценил таких “отрицателей” в русской литературе, как Грибоедов, Белинский, Гоголь, Щедрин (см. статьи “Мильон терзаний”, “Заметки о личности Белинского”, “Лучше поздно, чем никогда” и др.).

[163] Гончаров перефразирует здесь евангельское изречение, ср.: “Претерпевший же до конца спасется” (Мф. 24:13).

[164] Возможно, под “барынькой” Гончаров подразумевает упомянутую выше (см.

примеч. 91) Аграфену Николаевну. 4/16 июля 1868 г. Гончаров жаловался в письме С. А. Никитенко, что приезд Аграфены Николаевны в Баден — это “опять чья-то штучка”, предпринятая, чтобы ему “не давать <...> покоя и мешать работать” (VIII, 341).

[165] Возможно, в данном случае речь идет о священнике отце Гаврииле, с которым Гончаров общался за границей в 1868—1869 гг. и которого посвятил в свои сложные отношения с Аграфеной Николаевной (см. упоминавшееся выше письмо Гончарова к С. А. Никитенко от 4/16 июля 1868 г. — VIII, 341).

[166] Публикации рассказа Тургенева “Часы” (*BE*. 1876. № 1) предшествовало следующее предисловие автора: “Печатая этот небольшой рассказ и зная, что в публике ходят слухи о большом произведении, над которым я тружусь, я чувствую потребность обратиться к ее снисходительности. Задуманный мною роман (“Новь”. — *Н. Б.*) все еще не кончен; надеюсь, что он появится в “Вестнике Европы” в течение нынешнего года; а пока — пусть не погневаются на меня читатели на настоящее captatio benevolente (снискание благосклонности. — *лат.*) и пусть, в ожидании будущего, прочтут мой рассказ не как строгие судьи, а как старые знакомые — не смею сказать: приятели. И. Тургенев” (*Тургенев. Соч*. Т. XI. С. 418—419).

[167] Имеется в виду письмо Тургенева к Гончарову от 11/23 ноября 1856 г. из Парижа, где, в частности, говорится: “... А что делает Ваша литературная деятельность, не хочу и думать, чтобы Вы положили свое золотое перо на полку, я готов Вам сказать, как Мирабо Сиэсу: “Le silence de M-r Gontscharoff est une calamité pubique” (“Молчание г-на Гончарова — общественное бедствие” — *Тургенев. Письма*. Т. III, 40; см. также примеч. 57). Тургенев перефразирует здесь слова Мирабо в одной из его речей конца 1790 г. в Национальном собрании, обращенные к Сийесу и ставшие крылатым выражением.

[168] Сравнение Тургенева с голландскими живописцами братьями Остаде и фламандским художником Теньером преследует цель подчеркнуть ту мысль, что по характеру своего дарования Тургенев является художником-миниатюристом, мастером в изображении сельского быта, а большие эпические формы — не его сфера (эту мысль Гончаров постоянно развивает в письмах).

[169] См. примеч. 141.

[170] Гончаров был уволен со службы 29 декабря 1867 г. (согласно собственному прошению по причине расстроенного здоровья) с назначением пенсии в размере 1750 руб. в год (*Летопись*. С. 167).

[171] Очевидно, Гончаров имеет в виду Виктора Михайловича Кирмалова (сын его сестры Александры Александровны), который приехал к нему в Петербург в 1858 г. и остался в столице, поступив в канцелярию Сената. В 1862 г. приехал в Петербург и его брат Владимир и оставался там долгие годы. Сыновья брата писателя — Александр Николаевич и Владимир Николаевич Гончаровы жили в провинции.

[172] Bibliophile Jacob — псевдоним французского писателя и библиографа Поля Лакруа (Paul Lacroix; 1806—1884), автора известной книги “Les mistifications et les mistifiés” (1856. Т. 1—3). С книгой Библиофила Гончаров, возможно, познакомился по какой-то статье Раймона Мишеля (Raymond Michel — коллективный псевдоним трех французских писателей и журналистов — Реймона Брюкера, Мишеля Массона и Леона Гозлана).

[173] Возможно, Гончаров имеет в виду характеристику, данную С. Курьером русской литературе периода между Крымской войной 1853—1856 гг. и Крестьянской реформой 1861 г., когда лучшие представители “натуральной школы” (к их числу отнесен и Гончаров) выступали сторонниками освобождения крестьян и демократических преобразований в России (Courrière C. Op. cit. Ч. III). См. также примеч 55 и 109.

[174] Подобные утверждения Гончарова не подкрепляются фактами.

[175] Это свидетельство Гончарова не соответствует действительности: М. М. Стасюлевич долго и упорно добивался от него согласия напечатать “Обрыв” в “Вестнике Европы”, а также создал для Гончарова самые благоприятные условия для своевременного завершения романа. 20 февраля 1870 г. Гончаров в письме к М. М. Стасюлевичу благодарит его за внимание и помощь, оказанные им в процессе работы над изданием “Обрыва”, а в 20-х числах февраля дарит ему же экземпляр отдельного издания “Обрыва” с надписью: “Михайле Матвеевичу Стасюлевичу за горячее содействие к окончанию “Обрыва” благодарный автор. Февраль 1870” (*Стасюлевич*. Т. IV. С. 96; *Летопись*. С. 192).

[176] Выражение “без гнева и пристрастия” принадлежит римскому историку Тациту (Анналы. I. 1).

[177] Аналогичные вопросы, связанные с психологией творчества, Гончаров подробно рассматривает в статье “Лучше поздно, чем никогда” (1879). В частности, он пишет: «Обращаюсь к любопытному процессу сознательного и бессознательного творчества. Я о себе прежде всего скажу, что я принадлежу к последней категории, то есть увлекаюсь больше всего (как это заметил обо мне Белинский) “своею способностью рисовать”. Рисуя, я редко знаю в ту минуту, что значит мой образ, портрет, характер: я только вижу его живым перед собою — и смотрю, верно ли я рисую, вижу его в действии с другими — следовательно, вижу сцены и рисую тут этих других, иногда далеко впереди, по плану романа, не предвидя еще вполне, как вместе свяжутся все пока разбросанные в голове части целого» (VIII, 105).

[178] Речь идет о печатных выступлениях М. Н. Каткова и возглавляемых им “Московских ведомостей” против Герцена и “Колокола” в начале 1860-х годов.

[179] “Journal de St.-Pétérsbourg” — правительственная газета. Издавалась в Петербурге на французском языке с 1813 г.

[180] Права на французскую корону могли оспаривать: Бурбоны (последним представителем старшей ветви которых был граф Анри Шарль де Шамбор), герцог Орлеанский и Наполеон Бонапарт, сын Наполеона III.

[181] Очевидно, Гончаров имеет в виду I Интернационал.

[182] Резкое осуждение Парижской коммуны и коммунаров содержится также в письме Гончарова М. М. Стасюлевичу от 24 июля 1874 г. (*Стасюлевич*. Т. IV. С. 121—122).

[183] С сентября 1870 г., после присоединения Рима к Итальянскому королевству, светская власть пап, возникшая в 756 г., перестала существовать.

[184] Речь идет о восточном кризисе 1875—1878 гг., связанном с распадом Османской империи, национально-освободительным движением балканских славян против турецкого ига и обострением международных отношений. В противоположность России, вставшей на сторону восставших славян, европейские державы, стремившиеся к укреплению своего влияния на Ближнем и Среднем Востоке, воздерживались от решительных мер и ограничивались бесконечными нотами, меморандумами, встречами, конференциями и т. д.

[185] Речь идет о романе-хронике Н. С. Лескова “Соборяне” (*РВ*. 1872. № 4—7; отд. изд.: СПб., 1878). Гончаров особенно выделяет пятую главу части первой “Соборян” — дневник Савелия Туберозова (“Демикотонная книга протопопа Туберозова”). Рассказ Лескова “Запечатленный ангел” опубликован: *РВ*. 1873. № 1. С. 229—292.

[186] Изображению жизни великосветского общества посвящены романы В. П. Мещерского “Женщины из петербургского большого света” (1874). “Один из наших Бисмарков” (1874), “Лорд-апостол в большом петербургском свете” (1876) и др.

[187] Подразумеваются романы Б. М. Маркевича “Марина из Алого рога” (*РВ*. 1873. № 1—3; отд. изд.: М., 1873) и “Забытый вопрос” (*ОЗ*. 1872, № 6).

[188] Ср. характеристику Толстого в письмах Гончарова к П. Ганзену: 17 июля 1878 г. он характеризует роман “Война и мир” как «русскую “Илиаду”, обнимающую громадную эпоху, громадное событие — и представляющую историческую галерею великих лиц, списанных с натуры — живою кистью великим мастером»; 9 февраля 1885 г. Гончаров называет Толстого “настоящим творцом и великим художником” и отмечает: “граф Толстой — выше всех у нас” (VIII, 471, 476).

[189] Перифраз слов Чацкого (*Грибоедов А. С.* Горе от ума, д. IV, явл. 13).

[190] Гончаров уподобляет себя ленивому рабу, который, согласно Евангелию, получив один талант (мера серебра), “закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего”. Господин же, вернувшись домой, распорядился: “И так возьмите у него талант, и дайте имеющему десять талантов. Ибо каждому имеющему дастся и приумножится; а у не имеющего отнимется и то, что имеется” (Мф. 25:18, 28:29).

[191] *Тургенев. Письма*. Т. III. С. 40—41 (см. также примеч. 57). “Второй” роман — будущий “Обрыв” (тогда — “Райский”, “Художник Райский”).

[192] *Тургенев. Письма*. Т. II. С. 370 (см. также примеч. 7).

[193] *Тургенев. Письма*. Т. III. С. 40—41.

[194] Автограф этого письма не сохранился. Известен только отрывок, процитированный Гончаровым. По этому источнику печатается в кн.: *Тургенев. Письма*. Т. III. С. 107.

[195] Бонамия — дружелюбие (от фр. bon ami — добрый друг).

[196] Ошибка памяти Гончарова. В данном случае речь идет не о переводах романов “Госпожа Бовари” и “Воспитание чувств” (1857 и 1870), а о статье А. С. Суворина “Французское общество в новом романе Густава Флобера” (*ВЕ*. 1870. № 1—2), в которой приведены пространные выдержки из второго романа (см. примеч. 112—114).

[197] См. примеч. 55.

[198] Э. Золя пишет в “Парижских письмах”: «...успех “Madame Bovary” был поразительный. В какую-нибудь неделю Флобер стал известен, знаменит, популярен <...> С тех пор в течение двадцати лет он сохранял вокруг чела ореол этого первого успеха <...> Но публика выместила на нем эту славу <...> Каждая новая книга его встречала самую резкую критику, и эта злопамятность, эта враждебность критики все усиливалась с каждым новым произведением “L’éducation sentimentale” — это произведение, столь сложное и столь глубокое, вышедшее в эпоху предсмертной агонии империи — прошло почти незамеченным среди отупелого равнодушия» (*ВЕ*. 1875. № 11. С. 429).

[199] *Тургенев. Письма*. Т. И. С. 370 (см. также примеч. 7).

[200] Речь идет о Н. Н. Тютчеве.

[201] Это суждение Е. Л. Маркова о Тургеневе найти не удалось.

[202] Цитата из Библии: “Книга притчей Соломоновых” (28. I) ср.: “Нечестивый бежит, когда никто не гонится *за ним*; а праведник смел, как лев”.

[203] Возможно, имеется в виду французский перевод повести Л. Н. Толстого “Два гусара”, опубликованный с предисловием Тургенева в газ. “Temps”. 1875. 10 fevrier. № 5047. (пер. Ш. Роллина; Тургенев принимал участие в редактировании перевода).

[204] Речь Тургенева, прочитанная им <5> /17 июня 1878 г. на Международном литературном конгрессе в Париже, впервые была опубликована в газете “Temps” от 19 июня 1878 г. В русском

переводе перепечатана рядом газет (см., например: Рус. ведомости. 1878. № 148. 13 июня; Современные известия. 1878. № 161. 14 июня). Гончаров имеет в виду следующее место из речи: “Миновало еще столетие. За Мольером последовал у вас Вольтер, за Вольтером — Виктор Гюго. Русская литература наконец существует; она приобрела права гражданства в Европе. Мы можем не без гордости назвать здесь не безызвестные вам имена наших поэтов Пушкина, Лермонтова, Крылова, имена прозаиков Карамзина и Гоголя” (*Тургенев. Соч*. Т. XV. С. 55).

[205] В 1874 г. Тургенев просил А. А. Фета получить у Толстого разрешение на перевод его повестей “Три смерти” и “Казаки”. Однако в 1875 г. удалось осуществить лишь публикацию на французском языке перевода “Двух гусаров”. “Казаков” Тургенев охарактеризовал как “chef d’oeuvre Толстого и всей русской повествовательной прозы” (*Тургенев. Письма*. Т. X. С. 207).

[206] Отрицательные отзывы об “Обрыве” содержатся в ряде писем Тургенева за 1869 г. Так, в письме к П. В. Анненкову от 12/24 января Тургенев отмечает в первой части “Обрыва” “отсутствие настоящей, живой правды”; Райского называет “избитым типом”; слог Гончарова представляется ему “каким-то гладко выбритым, благообразно мертвенным чиновничьим лицом с бакенбардами, ниточкой вытянутыми от ушей к углам губ”; “Только и отдыхаешь, — добавляет Тургенев, — когда попадаешь в дом к Татьяне Марковне и в уездный город... Там есть вещи хорошие — второго разряда, не более...” И как итог: “...это все отжившее <...> Это написано чиновником для чиновников и чиновниц” (*Тургенев. Письма*. Т. VII, С. 278). В тот же день в письме к И. П. Борисову Тургенев возмущается “невыносимым” многословием романа, который “очень отдает фальшью <...> Только хороши сцены в деревне да в уездном городе” (Там же. С. 279). 14/26 апреля, прочитав четвертую часть “Обрыва”, он пишет ему же: “И что за фигура этот соблазнитель, Марк Волохов? Почему этот свинопас — другого слова придумать нельзя — увлекает Веру? Где сила, красота, ум, наконец? Только и виден автор, вертящийся в потелица...” (Там же. Т. VIII. С. 13). И по прочтении пятой части, ему же 24 мая / 5 июня: “Гончарова я едва осилил <...> Мелкие, тонко выработанные подробности не выкупают лжи и фальши — и скуки — целого” (Там же. С. 42. Ср.: Т. VII. С. 285, 299—300, 309, 315—316).

[207] Речь идет о повестях Г. Флобера “Легенда о Святом Юлиане Милостивом” и “Иродиада”, переведенных Тургеневым (*BE*. 1877. № 4, 5). Тургенев предпослал своим переводам предисловие, написанное в форме письма редактору “Вестника Европы”, в котором Флобер охарактеризован как “один из замечательных представителей современной французской литературы” и “наследник Бальзака” (*Тургенев. Соч*. Т. XV. С. 112). Тургенев предполагал напечатать в “Вестнике Европы” также перевод “Простого сердца”, который был поручен Е. И. Бларамберг, однако от публикации его пришлось отказаться по соображениям цензурного характера.

[208] Это письмо Ш. Делена неизвестно. Речь идет о книге: *Goncharoff*. Oblomoff. Scènes de la vie russe, Trad. par P. Artamoff. Revue, corrigée et augmentée d’une étude sur l’auteur par Ch. Deulin. Paris, 1877). Это был перевод первой части “Обломова”, впервые опубликованный в журнале “Revue de France” зимой 1872—1873 гг. (см. примеч. 52).

[209] Делен сообщает в предисловии некоторые подробности работы над переводом “Обломова”, осуществленным им вместе с Петром Артамовым (см. примеч. 52 и 208) при содействии группы (“колонии”) русских, проживавших в Париже. Здесь же упомянут Тургенев как глава “натуральной школы” в России, пользующийся во Франции высоким авторитетом и не менее известный в Париже, чем в Петербурге. Очевидно, это упоминание и дало повод Гончарову заподозрить “руку Тургенева”, якобы плетущего интриги и воспрепятствовавшего полному переводу “Обломова” (см. ниже).

[210] Письма Гончарова к Ш. Делену неизвестны.

[211] См. примеч. 18 и 19.

[212] Вопросы о литературных заимствованиях (в связи с проблемой охраны авторских прав и авторской собственности) затрагивались и на “Литературном конгрессе” в Париже (см. примеч. 218), и в воспоминаниях Эли Берте (см. примеч. 215). Это болезненно преломлялось в сознании Гончарова, усматривавшего повсюду, направленную против него интригу Тургенева. Гончаров ошибся в написании фамилии автора воспоминаний (“Barth” вместо “Berthet”).

[213] См. примеч. 5.

[214] Судьба этого начинания неизвестна.

[215] Речь идет о воспоминаниях малоизвестного французского писателя Эли Берте (“L’Histoire des uns et des autres”), напечатанных в переводе А. Н. Энгельгардт (“Из воспоминаний писателя”. — *ВЕ*. 1878, № 8; подпись: А. Э.). В них содержатся любопытные эпизоды из жизни французских писателей, в том числе рассказ о методах работы Понсона дю Террайля, который не стесняясь заимствовал у своих собратьев-писателей сюжеты и идеи их произведений, умело подновляя их “новыми украшениями”, маскирующими подражание.

[216] Сведений о подобной инициативе Тургенева обнаружить не удалось.

[217] Публикация романа “Новь” (*ВЕ*. 1877. № 1,2) совпала с судебным следствием по делу народников-пропагандистов, вылившимся позднее в так называемый “процесс пятидесяти” (происходил в Петербурге с 21 февраля по 14 марта 1877 г.). Подробные отчеты о процессе публиковались в “Правительственном вестнике” и перепечатывались в других газетах. Многие современники Тургенева увидели живые аналогии между его романом и раскрывшимися в процессе судебного разбирательства данными о “хождении в народ”. Так, например, П. В. Анненков писал М. М. Стасюлевичу в 1877 г.: “Читаем мы здесь процесс наших пропагандистов и не можем не изумляться тому, что Тургенев угадал заранее их ходы и приемы. Вот уж подлинно vates — так, кажется, звали пророков по-латыни” (*Стасюлевич*. Т. III. С. 340). Газета “Неделя” писала: “Начался процесс, и действующие лица романа до такой степени слились с действующими лицами процесса, что петербургский корреспондент одной немецкой газеты серьезно их перепутал и, давая отчет о романе, наполнил его именами подсудимых: в романе, говорит, главные лица Любатович, Фигнер и т. д.” (Неделя. 1877. 20 марта. № 12. С. 429). Подробнее об этом см.: *Батюто А. И.* Роман “Новь” и “процесс пятидесяти” // Тургеневский сборник. Л., 1966. Вып. II. С. 195—208; *Буданова Н. Ф.*: 1) Статья С. К. Брюлловой о романе “Новь” // Лит. наследство. М., 1967. Т. 76. С. 277—320; 2) Роман И. С. Тургенева “Новь” и революционное народничество 1870-х годов. Л., 1983.

[218] Международный литературный конгресс был созван по инициативе Общества французских литераторов (Société des gens de lettres) для обсуждения вопросов, связанных с международной охраной прав литературной собственности. Конгресс состоялся в Париже в июне 1878 г. Его почетным президентом был избран В. Гюго, Тургенев — вице-президентом. Подробнее о работе конгресса см.: *Полонский Л. А.* Литературный конгресс // *ВЕ*. 1878. № 8. С. 674—716; № 9. С. 354—391; *Боборыкин П. Д.* Международный литературный конгресс. Письма I—III // Рус. ведомости. 1878. 20 июня, 1, 18 и 24 июля. № 155, 165, 182, 185. См. также: Congres littéraire international de Paris. Paris, 1878.

[219] Речь идет об анонимной статье «Литературный конгресс в Париже (От корреспондента “Голоса”)» // Голос. 1878. 12/24 июля. Автор статьи критически рассматривает резолюции конгресса по охране авторских прав и авторской собственности, защищающие, по его мнению, преимущественно права французских писателей.

[220] В феврале — марте 1879 г. во время пребывания Тургенева в России были организованы публичные чествования писателя (подробнее об этом см.: *Тургенев. Соч*. Т. XV. С. 57—65, 308—

322; *Васильев П. П.* Описание торжеств, происходивших в честь И. С. Тургенева во время пребывания его в Москве и Петербурге в течение февраля и марта 1879. Казань, 1880). 13/25 марта 1879 г. группой профессоров и литераторов в честь Тургенева был дан обед в ресторане Бореля в Петербурге. На обеде писатель выступил с речью. Подробнее об этом: *Тургенев. Соч*. Т. XV. С. 60—61, 315—318.

[221] О роли гр. Биконсфилда в Международном литературном конгрессе.

Сноски

[*1] См. наст. том, с. 278. Далее ссылки на страницы этой публикации “Необыкновенной истории” даются в тексте статьи арабскими цифрами.

[*2] *Гончаров И. А.* Собр. соч.: в 8 тт. М., 1977—1980. Т. VIII. С. 179. Далее ссылки на это издание даются в тексте статьи: римские цифры — том, арабские — страница.

[*3] Сохранился черновой набросок отрывка этой части, соответствующий тексту на с. 232—233 наст. публикации (*ИРЛИ*, ф. 134, оп. 8, № 1, л. 1—2). См. также: наст. том, с. 296, примеч. 94.

[*4] Сохранилась копия этой рукописи (*ИРЛИ*, ф. 163, оп. 1, № 106, л. 1—7).

[*5] Сохранилась копия этого наброска (*ИРЛИ*, ф. 163, оп. 1, № 106, л. 8—9)

[*6] А. Д. Алексеев назвал первый из этих документов “сопроводительной запиской” (*Летопись*, с. 232); вслед за ним так же озаглавила его О. А. Демиховская в указ. публикации (с. 94). Однако термин “сопроводительная записка” предполагает существование конкретного адресата, который в данном случае отсутствует.

[*7] Надпись сделана на полях первого листа рукописи. “Примечание” — завещательное распоряжение, Гончарова (см. наст. том., с. 278). Слова “25 лет”, зачеркнутые автором, читаются предположитнльно (ср. “Примечание” на с. 278).

[*8] *Было*: Истинные происшествия

[*9] *Далее было*: какой-то.

[*10] *Далее было*: Потом в 1846 и 1847 годы мы

[*11] *Далее было*: не помнит

[*12] *Далее было*: И вот

[*13] *Было*: и подробности

[*14] *Далее было*: планах

[*15] *Далее было*: А он все писал свои записки и миниатюрные, но прелестные повести и...

[*16] *Далее было*: Роман

[*17] *Далее было*: вольтерьянца

[*18] *Далее было*: среди библиотеки

[*19] *Было*: провел

[*20] выложил все начистоту (*фр.*).

[*21] *Было*: послушайте

[*22] *Было*: Кажется, в 1859, а может быть и в 18<60>

[*23] *Далее было начато*: Однажды

[*24] *Далее было*: однажды

[*25] *Далее было начато*: справедливо

[*26] *Далее было*: нередко

*27 *Было*: романа
*28 *Было начато*: какой-то
*29 *Далее было*: книга
*30 *Было*: и там старая книга
*31 *Далее было*: Елена (кажется, Елена)
*32 *Далее было*: зачем
*33 Мое одиночество, Мой покой, Мое уединение (*фр.*)[26].
*34 *Было*: как будто
*35 *Далее было*: На другой день он <1 *нрзб.*> ни словом о чтении <?>
*36 *Далее было*: что он у вас <1 *нрзб.*>
*37 *Далее было*: прибавил он
*38 клиентура (*фр.*).
*39 *Далее было начато*: Это он
*40 *Было*: пьесах
*41 *Было*: другом
*42 *Было*: Один
*43 *Далее было*: основаниях правительственного и государственного строя
*44 *Было*: платил им
*45 в зародыше (*фр.*).
*46 до бесконечности (*лат.*).
*47 *Было*: затем <?> показал
*48 вопреки всему (*фр.*).
*49 *Далее было начато*: Рассказана была история
*50 *Было*: то
*51 *Было*: он, конечно
*52 *Было*: привилегию
*53 *Было*: бросить свет
*54 плагиат (*фр.*).
*55 и не без причины (*фр.*).
*56 *Было*: Райского
*57 *Далее было*: местностей
*58 *Далее было*: предупреждал меня
*59 внезапно, резко (*фр.*).
*60 *Далее было*: например, в “Отцах и детях”
*61 *Далее было*: притом
*62 ложную видимость (*фр.*).
*63 мнимого (*лат.*)
*64 *Далее было*: русской деятельности
*65 *Далее было начато*: Вся по<весть>
*66 *Было*: показал публично
*67 *Далее было начато*: менее было

[*68] *Далее было*: [не замечая] не понимая, что
[*69] *Далее было*: силы, кроме миниатюрных
[*70] *Далее было*: Другое дело Дон-Кихот: там издевайся и смейся, сколько хочешь
[*71] русский гений, глава новой школы романистов (*фр.*).
[*72] с разрешения автора (*фр.*).
[*73] Я не сомневаюсь в их высокой порядочности (*фр.*).
[*74] *На полях л. 24 об. рукописи зачеркнутая запись*: как раз когда рукописей не было
[*75] *Далее было*: но ум как
[*76] *Далее было*: прямая
[*77] *Далее было*: решает
[*78] *Было*: как
[*79] *Далее было*: Имел и Тургенев
[*80] *Далее было*: тонкой
[*81] *Было*: мнимой зависти
[*82] *Было*: и начались
[*83] *Далее было*: но кроме того он взял
[*84] *Далее было*: у меня
[*85] образ (*фр.*).
[*86] *Было*: шьет
[*87] *Далее было*: оставляя то же
[*88] *Было*: своего
[*89] *Было*: потом <?>
[*90] *Далее было*: и все возвращаясь
[*91] *Было*: давно
[*92] *Далее было начато*: и много высшего <света>.
[*93] высший свет (*фр.*).
[*94] *Далее было начато*: заимст<вования>
[*95] *Далее было*: Ему, как и Григоровичу, таким мастерам
[*96] *Далее было*: У Григоровича попытки его в том роде оказались все-таки плохи, а у Тургенева получше, но нигде нет образа: везде сделанное или сочиненное!
[*97] *Было*: и потом в Булони
[*98] *Далее было*: конечно
[*99] *Было*: графу Сергею Александровичу Апраксину
[*100] *Далее было*: и только беспокоился
[*101] *Далее было начато*: Они были нарочно <?>
[*102] *Было*: позорным способом
[*103] *Далее было*: Обвинять их в этом не решусь
[*104] *Было*: морей
[*105] “Г-жа Бовари” и “Воспитание чувств” (*фр.*).
[*106] *Далее густо зачеркнуты 2,5 строки; 2 последние слова*: берут чужое
[*107] *Было*: другим

*108 Вот вопрос (*англ.); Шекспир*. Гамлет (акт III, сц. 1).

*109 Куррьера (*фр.*). *Далее было*: здесь припомню <1 *нрзб*>; и прочих

*110 *Далее было*: но что именно — не знал

*111 *Далее было*: от меня, как я по имени

*112 *Было*: повторил

*113 *Было начато*: кроме единого

*114 *Было*: он нашел

*115 *Далее было*: Но он ловко употребил в свою ложь и эти два слова (голубая ночь), подавшие ему повод подвести под них и другие удачные выражения в “Обрыве” и мои вечные сомнения и жалобы на свое бессилие — чтобы на всем этом песке нагромоздить [построить] < 1 *нрзб*>; свой фантастический замок лжи!

*116 *Было*: и после

*117 Булонь (*фр.*).

*118 Гостиница “Франция” (*фр.*).

*119 *Было*: сказал

*120 *Далее было*: повидаться со мной

*121 *Было*: со мной

*122 *Далее было*: все чаще

*123 *Далее было*: с ведома его союзников

*124 *Далее было*: между прочим у Стасюлевича

*125 *Далее было начато*: Я перед чтением

*126 *Было*: воспольз<овался>

*127 Было: этот роман

*128 *Далее было*: и по-немецки

*129 *Было*: эта дружба

*130 *Далее было*: книг

*131 жертва обмана (*фр.*).

*132 *Далее было: а) Начато*: заме<тил>* *б)* проговорил он

*133 *Было*: переложенный

*134 мизансцена, постановка (*фр.*).

*135 *Далее было*: фальшивишь!” Каково!

*136 Это уморительно (*фр.*).

*137 *Было*: осветить

*138 *Далее было*: смотрели

*139 *Далее было начато*: мы незам<етно>

*140 что литература — это *я (фр.*).

*141 *Было*: на меня

*142 *Было*: эту историю

*143 *Далее было*: Вы приписываете, — сказал я

*144 *Далее было*: Подлость!

*145 “Госпожа Бовари” Флобера (*фр.*).

*146 провинциальных нравов (*фр.*).

*147 *Далее было*: кое-что

*148 *Далее было*: ел

*149 *Было*: передавая

*150 *Было*: только

*151 “Я не сержусь на Вас” (*фр.*).

*152 великий, великий, великий (*фр.*).

*153 *Было*: картина

*154 *Было*: с довольно близким переложением

*155 *Далее было*: И для чего? И так видно [что] при поверхностном прочтении этих и моих книг, что сходство есть, стало быть, кто-нибудь да виноват. Но кто?

*156 *Было*: снят

*157 *Далее было*: считала св<ечи>>

*158 *Далее было*: за дружбу с Марком Волоховым, к которому

*159 *D Было*: однажды в фельетоне

*160 *Было*: было

*161 *Далее было*: всё

*162 *Далее было*: Нечего делать — надо вынести

*163 *Далее было*: тогда у него подлинника в руках не было. Прибавлю еще, что после

*164 *Было*: их вкусы и склонности

*165 Фредерик и Делорье

*166 *Было*: на метафизику у Делорье

*167 *Далее было*: это все

*168 Было: Это *расчет*

*169 *Далее было*: [повторяется] перефразированная

*170 *Далее было*: Особенно близко снята почти копия, с легкими переменами (во 2-й части “Education sentimentale”, гл. V, с 9 до 15 стр<аницы>, изд. 1870) в разговоре Фредерика с Луизой Рок — с разговора в саду Райского с Марфинькой, в III-й гл<аве> 2-й части “Обрыва”. Тут почти и перемен нет: описание <сада и> огорода и запущенного

*171 “Ах, я настоящий негодяй!” (*фр.*).

*172 “Я не сержусь на вас!” (*фр.*).

*173 *Далее было начато*: часть

*174 *Было*: подслушивая

*175 “Север” (*фр.*).

*176 *Далее было*: здесь <?> имя

*177 *Было*: в примечании

*178 *Было*: замечено

*179 *Было*: образы

*180 *Далее было*: повесть

*181 чудесной, восхитительной (*фр.*).

*182 “Нет пророка в своем отечестве” (*фр.*)[119]

*183 *Было*: о нем

*184 шутник (*фр.*).

*185 *Было*: он
*186 *Было*: там
*187 *Было*: сможет
*188 *Было*: однажды в фельетоне
*189 *Было*: ее безошибочностью
*190 *Далее было*: в 1870 году
*191 *Было*: сначала
*192 *Далее было*: обилием
*193 “Саламбо”, “Искушение св. Антония”, “Госпожа Бовари”, “Воспитание чувств” (*фр.*).
*194 *Было*: и, разумеется, этим уничтожить
*195 *Было*: в биографических подробностях
*196 *Далее было*: в либеральном смысле, то есть
*197 свободомыслящий (*фр.*).
*198 *Было*: тут начал
*199 душою и телом (*фр.*).
*200 *Было*: месяц
*201 *Было*: и все брал
*202 *Далее было*: моего
*203 *Было*: затем назначил
*204 *Далее было*: но я мало этим пользовался
*205 *Далее было*: любителя стихов
*206 *Далее было*: там
*207 *Далее было*: и близких мне
*208 *Далее было*: в страстях
*209 *Было*: шаг за <шагом>
*210 *Далее было*: И меня давно и слуша<ют>
*211 *Далее было*: избегал идти
*212 роман живописный, огромный талант (*фр.*).
*213 русская литература — это я” (*фр.*).
*214 *Было*: пожалуй
*215 *Далее было*: А это именно и предлежит и разобрать третьей, беспристрастной стороне
*216 *Далее было*: суду
*217 *Далее было*: будут
*218 Не так я глуп! (*фр.*).
*219 все очевидности против меня (*фр.*).
*220 Пусть будет выслушана и другая сторона (*лат.*)[141].
*221 “Жермини Ласерте” (*фр.*)[143].
*222 *Было*: трем литераторам
*223 *Было*: из этого
*224 *Далее было*: А если есть и сердце, то, значит, есть все!
*225 *Далее было*: далее

*226 Далее было: очистить себя от [грязи] клеветы

*227 *Далее было*: как будто

*228 *Было*: туда

*229 *Было*: даже со смехом

*230 фатовство, самодовольство (*фр.*).

*231 *Было*: центром

*232 *Было*: с ним

*233 *Далее было*: хотел [жаловаться]

*234 *Было*: его

*235 *Было*: ему

*236 *Было*: подлинному

*237 умеренный успех! (фр.)[149].

*238 *Далее было*: мало-помалу

*239 *Было*: прятал

*240 *Было*: ничего

*241 *Было*: всей нашей натуральной школы

*242 *Далее было*: и верностью характера

*243 *Далее было*: ее значение — и вот откуда и отчего

*244 *Было*: через год

*245 *Далее было*: что там тоже художник! Может быть, Тургенев подсунул мои задачи и туда, но так [как], повторяю, у него тогда подлинника моего в руках не было, то и в “Бовари” вышло скверно

*246 *Далее было*: а сцен моих, разговоров [там нет] не приводит, — потому что их в подлиннике у него тогда в руках не было

*247 *Было*: от моего рассказа

*248 *Далее было*: и говорит и показывает

*249 *Далее было*: и свободы передвижения

*250 *Далее было*: И те космополиты <1 *нрзб.*> из чего это видно? Да из всех же ваших разговоров видно это, а потом [изображенного] выраженного мною в “Обрыве” [в уста] через Райского чувства скуки и недовольства.

*251 *Было*: заветные

*252 *Далее было*: потопят

*253 *Было*: сложились и слились

*254 *Далее было*: религий

*255 *Далее было*: бегает

*256 *Далее было*: Никто не бросит семью, чтобы пойти в другую, работать в другой, жить для другой, кроме

*257 *Далее было*: и те истекают <?> из принципов

*258 *Было*: А как

*259 *Далее было*: затем

*260 Анненков, прозрев немного, кажется, удалился от него из приличия — и тоже удалился за границу, в Висбаден. Но этот ушел более от дороговизны здесь. (*Примеч. И. А. Гончарова*).

*261 *Далее было*: даже возвышенную

*262 *Было*: вот за этот

*263 *Далее было*: речи

*264 *Далее было*: к русским недостаткам

*265 *Было*: под ним

*266 “Россия — это Япония!” (*фр.*).

*267 *Далее было*: оно

*268 *Далее было*: притом больше

*269 *Далее было: а*) и материализмом; *б*) материализмом (не говоря уже о народившейся тогда идее о коммунизме).

*270 *Далее было*: (и стар был — лет 35—36).

*271 *Далее было*: любили предсказывать

*272 *Далее было*: вполне

*273 *Далее было*: выбрал девиз <?>

*274 *Далее было*: между тем

*275 *Было*: наверху

*276 *Было*: почти никогда

*277 *Было*: старая консервативная

*278 *Было*: даже со страхом

*279 *Далее было*: принял [принял даже приятное] приятное предложение заняться с покойным цесаревичем литературой

*280 *Далее было*: тем более

*281 *Далее было*: прежние

*282 *Далее было*: также

*283 *Было*: в этом

*284 *Далее было*: ! мысль

*285 *Было*: шутил

*286 *Далее 4—5 слов густо зачеркнуты. Далее было*: последнее к естественному совокуплению <1 *нрзб*>; также к прямой цели авторства — к созданию художественных произведений

*287 *Было*: статье

*288 поневоле, вопреки (*фр.*).

*289 *Далее было*: история остановится

*290 *Далее было*: покойной

*291 *Далее было*: и другим

*292 что это общественная катастрофа, что я не пишу (*фр.*)[167].

*293 *Было*: ничего у самого нет

*294 *Далее было*: То мелькнет где-нибудь намек на содержание моего письма, то какое-нибудь удачное из него сравнение, сочиняет стихи, подходящие к моей теме и т. д.

*295 в курсе (*фр.*).

*296 пусть будет выслушана и другая сторона (лат.)[169].

*297 почти (*фр.*).

*298 *Было*: в разные роли

*299 *Далее было*: Вот и играли. Подумали.

*300 “Мистификаторы и мистифицируемые (Жакоб библиофил)” Мишеля Реймона (фр.)[172].

*301 *Было*: какое-то общество

*302 *Было*: на второй

*303 *Далее было: а*) Да хоть бы <*не закончено*> *б*) А другие ярые консерваторы, пожалуй, прибавят к этому: [и вовсе] “Пусть и вовсе не было <бы> литературы, так не беда... Жили же долго без нее”. “Нет, беда: это значит, что и правительство, и общество ослепло и оглохло бы и возвратилось к первобытному состоянию... Но я спорить об этом не стану, а только скажу, что ни в науке, ни в искусстве, ни в морском, ни в военном деле без литературы <3—4 *нрзб.*>; обойтись нельзя — и что как в науке или ремесле, так и в художестве — надо дорожить всякой мелочью, всяким отечественным изобретением, вымыслом, добытым фактом, новым шагом — и не отдавать его иностранцам, которым мы и так отдали слишком много! Я не чуждаюсь и “немецкого океана” и люблю все хорошее везде, но хочу быть и буду русским”. *Далее 8 густо зачеркнутых строк. На полях помеченная крестиком запись*: См. следующий лист 44.

*304 *Выше зачеркнуто*: потому что эти господа

*305 *Было начато*: так надо мной

*306 *Было*: заручился

*307 *Было*: скажу

*308 *Далее густо зачеркнуто 10,5 строк. Затем было*: И действительно так сделали

*309 *Далее было*: словом, что это

*310 без гнева (*лат.*)[176].

*311 *Далее было*: волнующиеся

*312 *Было*: указателем

*313 “С.-Петербургская газета” (*фр.*). *Далее было*: и то это нужно потому, что здесь

*314 *Было*: принадлежащие

*315 *Далее было*: но бывают дни

*316 *Далее было*: <1 *нрзб.*>; его заподозрили

*317 *Далее было*: и равнодушием

*318 *Было*: жизнь человека

*319 *Далее было начато*: и вещественного

*320 *Далее было*: силою

*321 *Далее было*: Реализм породил

*322 *Далее было*: изящество

*323 *Далее было*: руководства

*324 почти, приблизительно (*фр.*).

*325 *Далее было*: <1 *нрзб.*>; парвеню

*326 *Далее было*: наука говорит ясно, говорит сильно, и где жизнь <1 *нрзб.*>; словом, чувствуем другое, и что-то другое, чего требует жизнь

*327 *Далее было*: Ожидание!

*328 *Далее было*: Под <1 *нрзб*>; предлогом объединения наций. В политике, в церкви, всюду.

*329 *Далее было*: и человеческим разумением сообща, притом <*не закончено*>;

*330 *Было*: и притом самим веком

*331 *Было*: даже не настоящим

*332 *Далее было*: например, того же князя Мещерского, потом Маркевича

*333 *Далее было*: иногда очень талантливых, как, например, Лесков

*334 *Далее было начато*: Русские люди

*335 *Далее было*: и вот <?> написал ряд романов

*336 *Далее было*: Князь Мещерский изобразил высший круг[186] <2—3 *нрзб.*>; Маркевич (“Забытый вопрос”, “Марина из Алого Рога”), тот же круг и семейный вопрос[187]. Лесков много, между прочим, кажется, старается о религии

*337 *Далее было*: Но первых двух особенно.

*338 *Далее было*: И они действуют только на тех, кто и без романов этих — и религиозны, и [преданию] чтут власть, семейные узы, — и притом читаются от скуки, наравне с франц<узскими> романами! [Странная претензия учить романом!] Искусство учит только — образом: чем живее образ, тем и сильнее действует! Гоголь поэтому и силен, что сильны его образы, и Грибоедов тоже. Следовательно, вся тайна в силе таланта, то есть в силе изображения! А тут думают: “У тебя-де искусное перо, пиши — и подействует!”

*339 *Далее было*: журналов

*340 *Далее было*: также навязать

*341 *Далее было*: разжечь его

*342 *Было*: князь мира сего

*343 *Далее было*: и тоже

*344 *Было*: туда

*345 *Было*: Мещерских, Маркевичей и других

*346 *Далее было*: Действительно

*347 *Далее было*: что можно

*348 *Далее было*: и я в ней читаю уроки Провидения и благословляю Его Премудрость, Правосудие и Благость.

*349 *Было*: так и во всей

*350 *Было*: налеты

*351 *Было*: и потом

*352 *Далее запись*: (продолжение на следующем 49 полулисте)

*353 Молчание г-на Гончарова — общественная катастрофа (*фр.*).

*354 *Было*: написать

*355 *Далее было начато*: Он тут и

*356 *Незачеркнутый вариант*: эта крайняя, то есть псевдореальная

*357 *Было*: фантазии

*358 *Далее было*: придумывать

*359 *Было*: подсказать

*360 *Было*: он

*361 *Было: а*. и разных прохвостов *б*. и разных кумовьев. Гадость, мерзость! Скверная, жалкая, грязная история низкого падения человека!

*362 *Далее было*: эту историю души

*363 *Далее было*: что Бог избавит меня

*364 *Было*: 25 лет

*365 *Далее было начато*: о том, как

*366 *Далее было*: заручившись свидетелем

*367 *Было*: этого

*368 *Было*: меня

*369 *Далее вписано и зачеркнуто*: делает им, в глазах французов, самовольную оценку (конечно, в свою пользу), выставляя все, кроме себя, не стоящим внимания — все для того, чтоб удержать от переводов.

*370 *Было*: кто-то из слушателей

*371 *Было*: конечно

*372 *Было*: верят часто

*373 “Простое сердце” (*фр.*).

*374 *Далее было*: (а может быть, и 1875-го года)

*375 Шарля Дёлена (*фр.*).

*376 “Дорогой учитель!” (*фр.*).

*377 Де Ла Фит (*фр.*).

*378 *Так в рукописи*.

*379 Все права охраняются (*фр.*).

*380 *Было*: он

*381 “Любители пива” (*фр.*).

*382 *Было*: сказал

*383 Дидье (*фр.*).

*384 *Далее было*: Это должно быть так, потому что, поехавши на воды с 1-ю частью “Обломова” в 1857-ом году — я там окончил почти все 3 остальные части, за исключением последних глав, оконченных уже в Петербурге. В Париже, куда я поехал прямо из Мариенбада, я застал Боткина, Тургенева и Фета. Последний в день моего приезда женился на сестре Боткина. Я прочитал Тургеневу и Боткину все, написанное на водах, не доверяя себе, не зная, хорошо ли это, нет ли, следил, какое впечатление сделает это на них[211]. Фет приходил послушать ненадолго: ему было не до того. Это было в первые дни его женитьбы. Конечно, я не подозревал чувства зависти в Тургеневе, а после оказалось, что он уже сам трудился над заимствованным у меня сюжетом (как выше сказано) из жизни Райского, именно “Дворянским гнездом” [заимствованным] (глава о предках Райского, которую я по этой причине, то есть по причине его заимствования, исключил из романа “Обрыв”), и кроме того эпизод о Козлове и его жене из “Обрыва” передан ими в это время, конечно, уже обрабатывался Флобером в его “M-me Bovary”. “Обрыв” мой весь и подробно он уже знал с 1855-го года, а теперь, в 1857-ом году — прочитал и три части “Обломова”: очень может быть, что он — и идею, и сцены тут же сообщил каким-нибудь литераторам французским, но я еще не напал на след [романа], кому именно и где. А заключаю я это из намеков, которые, конечно, он влагает кое-где в статьи “Вестника Европы” (по поводу Литературн<ого> конгресса, корреспонденция из Парижа Полонского за август, и еще есть намеки в статье Elie Barthe “Воспоминания писателя”), о скрытых переводах, о заимствованиях из старых романов, не говоря, конечно, обо мне, но это адресуется, конечно, на мой счет[212]. Должно быть, он выклевал из меня все, что получше — и пока я обрабатывал свои сочинения, там успели напечатать, следовательно, опередили меня! Двадцать лет упражняется

он в этом — и для этого оставил Россию, свою литературу и передался чужим! Зависть колоссальная — самолюбие гадкое — ум лисий, хитрый!

*385 огласка (*фр.*).

*386 *Примечание <Гончарова>*: Обломов — еще в рукописи, лишь только я кончил его весь в 1857 году, на водах в Мариенбаде, был привезен мною в Париж, где я застал Боткина и Тургенева — и прочитал им все написанное (кроме последних глав, прибавленных уже в Петербурге в 1858 году и тоже прочитанных Тургеневу до напечатания в 1859 году в "Отеч<ественных> записках" у Краевского. Очень может быть, что тогда же, вместе с [рассказом] переданным им Флоберу содержанием "Обрыва" (послужившим к сочинению "M-me Bovary") он передал кому-нибудь и прочитанное ему тогда из "Обломова". Об "Обломове", когда он готовился, знали уже и в публике по отрывку "Сон Обломова", напечатанному в "Иллюстрированном сборнике", изданном в 1848 году при журнале "Современник"[213]. А тетради мои читались и показывались мною всем в литературном кругу, все более Тургеневу, так как я всегда был мнителен насчет себя, спрашивал мнения других, беспрестанно поверял, какое впечатление сделает то или другое место, нет ли каких-нибудь несообразностей и т. д. — словом, всегда сомневался в себе — и более всех доверял вкусу и критич<ескому> такту Тургенева, — следовательно он, так сказать, следил за моими тетрадями. Зависти я в нем не подозревал тогда, и он имел полную возможность передавать и мои идеи, и отдельные места за границу, переделывая там, при своем таланте, конечно, на франц<узские> нравы. Зависть его — и тонкий плутоватый ум внушили ему обширный план интриги.

*387 *Было*: около того же времени, весной же прошлого года

*388 Лакост (*фр.*).

*389 Гревен (*фр.*).

*390 *Примечание <Гончарова>*: Судя по тому упорству, с которым все противилось переводу "Обломова" на франц<узский> язык, я подозреваю теперь, что и этот роман издавна перенесен в чужую литературу, но где и в каком виде, у кого — до сих пор не знаю. Вероятно, Тург<енев> приберегает это pour la bonne bouche (на закуску — *фр. — Н. Б.*) — чтобы вдруг потом объявить, что все мои сочинения взяты из чужих литератур! Вот что сделал этот гений зависти и лжи!

*391 *Далее было*: без красок, без жизни, без колорита, бесцветно

*392 *Далее было*: Дым"

*393 обработка (*фр.*).

*394 *Далее было*: в одиночестве <?> может быть, даже от этого и умру

*395 *Было*: составил

*396 Эдмон Абу (*фр.*).

*397 *Далее было*: Впереди, может быть, и еще хуже будет. Он сам вязнет в болоте да тащит туда и других.

*398 Надпись сделана на полях первого листа "записки". "Примечание" — завещательное распоряжение, сделанное в конце рукописи "Необыкновенной истории" (см. наст. том, с. 278).

*399 огласка (*фр.*).

*400 *Далее было*: и сам

*401 обработка, переделка (*фр.*).

*402 *Далее было*: напечатав

*403 *Далее начато*: Это

[*404] *Далее начато*: в конце <концов>
[*405] И вот как пишется история! (*фр.*).